ЦЕНА НОМЕРА:
по подписке — 50 коп.,
в розницу — 70 коп.



Анатолий Кулинич
НОЧНАЯ СЕРЕНАДА

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ НОМЕРА

Мистерия нашей жизни разыгрывается в творчестве московского художника, живописца и графика Анатолия Кулинича. Играется параллельно временному движению, а то и предугадывая его. Казалось бы, вполне реально ведут себя персонажи и образы Кулинича в самых невероятных жизненных ситуациях. Но сама художественная форма (за редким исключением) всегда остается метафоричной. Метафора для Кулинича — это тот материал, с помощью которого он и создает мир, пространство и время, наполненные этическим смыслом.

Прирожденный импровизационный дар привел художника уже в ранней молодости к потребности найти свою изобразительную манеру. Кулинич рано освободился от стереотипов, кои в искусстве весьма обильно расцветают в самые разные времена. Эмоциональное чувство внутренней свободы, образная раскрепощенность, жажда нового подсознательно вели его к собственной образной и художественно-пластической системе. Стержень ее — нравственно-философские вопросы, среди которых едва ли не самый для него главный и, видимо, вечный для всех поколений — поиск истины.

Не случайно одну из картин Анатолий Кулинич так и назвал — «Путь к истине». Нет, он не дает рецептов. Более того, чуть ли не апокалиптические видения грезятся художнику: какие-то фантасмагорические животные, размерами больше дома, мрачные птицы — не то грифоны, не то вороны, способные ухватить человека. А люди... Да и люди ли это, они больше похожи на зомби, имеющих лишь оболочку телесную... Бессмысленно пересказывать содержание картин, ибо у каждого смотрящего свое понимание, рождающееся в прямой зависимости от личной этической программы.

В современном изобразительном искусстве, динамичном, изобилующем самыми различными направлениями, тенденциями, художнику непросто определить свой выбор. Еще сложнее оформить свой лик, сохранив чистоту мировоззренческих и эстетических принципов, и, не впадая в эпатаж, оказаться замеченным и узнаваемым. Также непросто избежать ловушек модных увлечений или же соблазна политизировать искусство — поскольку общество переживает поистине взрыв политического обновления. Итак, стать и остаться художником, осмысливая современность, почувствовать мир, в котором живешь, как часть мироздания, время, в котором родился и сформировался,— как реальность, то мистифицируя ее, то иронизируя, то просто радуясь тихой красоте, еще раз убеждаясь в истинности мысли Достоевского, что нет ничего фантастичнее реальности.

Людмила КУВШИНСКАЯ

Индекс 73755 ISSN 0234 – 1824

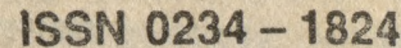
ГОРИЗОНТ

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



Анатолий Кулинич. БЫКИ

7
1991



ISSN 0234 – 1824

ГОРИЗОНТ

7 · 91 ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
Телефон:
928-97-42.

Сдано в набор 28.05.91. Подписано к печати 27.06.91. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитуры «Литературная» и «Журнально-рубленая». Печать высокая. Усл. печ. л. 3.57. Усл. кр.-отт. 5.04. Уч.-изд. л. 5,86. Тираж 100 000 экз. Заказ 1946. Цена номера: по подписке — 50 коп., в розницу — 70 коп.
Малое издательское предприятие «Горизонт». 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

СОДЕРЖАНИЕ

Точка зрения

Тема с вариациями

Литература и искусство

Открытое слово

На обложке и вкладках номера: живопись Анатолия Кулинича

Издательство «Московский рабочий»

Игорь Бестужев-Лада

СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ

Часть I. ЗА УПОКОЙ
Реквием

Жуткое состояние обреченности.

Надоело читать публицистику. И тем более самому заниматься ею. Надоели откровения даже самых талантливых экономистов, не говоря уже о конъюнктурщиках,— настолько далеко все это от реальной действительности. Надоели призывы к законности из уст наших юристов: это в государстве-то, которое еще только собирается и никак не соберется стать правовым! Надоели даже интересные поначалу дебюты переродившихся историков и зародившихся политологов. Все время вспоминается Станислав Ежи Лец: ну допустим, пробьешь головой стену — и что же ты будешь делать в соседней камере!

Публицистика явно исчерпала себя. Исписалась. Повторяется. Начинает ходить кругами, как попавший на крючок карась.

То, что Сталин — величайший в истории изверг рода человеческого, сумевший предать мучительной смерти большее число людей, чем все иноземные захватчики скопом, от Батыя до Гитлера включительно,— рассказано тысячекратно и доказано документально. И к тому же, подлец,— заурядный агент царской охранки, о чем тоже имеются достаточно убедительные документальные свидетельства. И если все еще остается какой-то процент населения, способный со звероподобным выражением на лицах восславлять изверга, вздымая его портреты (см. обошедшие газеты фотоснимки сталинистов на первомайской демонстрации сего года), это свидетельствует лишь о том, что мы деградировали намного сильнее своих предков — обывателей щедринского города Глупова, никогда не позволявших себе подобного самоунижения. Какая тут еще требуется публицистика? О чем еще писать?

То, что известная в свое время аксиома: «Сталин — это Ленин сегодня» — вовсе не пустой пропагандистский штамп, а объективная реальность, данная нам в ощущении, можно сказать, абсолютная истина в последней инстанции — тоже больше не сенсация. Просто Сталину в 1929—1991 годах и далее (поскольку мы всё еще живем в е г о государстве и никак не можем выбраться оттуда) удалось то, что не удалось Ленину в 1917—1921 годах. Повторил шаг в шаг, только счет пошел не на миллионы, а на десятки миллионов загубленных жизней. С теми же примерно последствиями в области экономики, социально-политической жизни и культуры. И если сегодня не проценты, а десятки процентов, может быть, даже большинство населения страны, будучи опрошено, почти наверняка выскажется за продолжение надругательства над прахом своего идола, отказывая ему в ч е л о в е ч е с к о м погребении,— это свидетельствует лишь о том, что Ленин-Сталин умер, а дело его — тотальная оболваненность народа — живет. О чем тут далее публицистировать?

В свою очередь, Ленин-Сталин всего лишь претворил в жизнь одну из сотен социальных доктрин XIX века — доктрину Маркса-Энгельса. «Европа еще наплачется с этим бухгалтером»,— пророчески заметил касательно Маркса старик Бисмарк. И ошибся. Наплакалась не только Европа, все человечество. Особенно горючими слезами — целая треть его, проживающая меж Гаваной и Пхеньяном. Что тут можно добавить к уже сказанному?

А конечные результаты жизнедеятельности Маркса-Энгельса, Ленина-Сталина? Что можно добавить, например, к следующим публичным высказываниям, никем пока не опровергнутым:

«С поразительной быстротой разваливается экономика.»

«Все в этой стране, включая политических лидеров, перестали понимать, что происходит вокруг. В воздухе буквально растворено ощущение близкой катастрофы.»

«Страна в оцепенении: падают экономические показатели, снижается политическая активность. В такие моменты любое действие элементов системы лишь ускоряет катастрофу. Самое страшное — предчувствие катастрофы.»

«Обстановка всеобщего экономического хаоса и спада производства.»

«Нас ожидает катастрофа. И экономическая, и политическая, и социальная.»

«Сейчас, в период всеобщей нравственной катастрофы, постигшей советское общество...»

«Трудно не согласиться с теми, кто утверждает: помимо законной, конституционной власти, в стране оформилась и действует «теневая власть»... Очень тяжело читать и слушать произведения воинствующей некомпетентности, (стремление) ввести общественность в заблуждение, дезинформировать ее.»

«Идет суета, совершаются ошибки за ошибками, глупости.»

«Советское правительство, будучи генетически криминальным, так и высматривает, как бы за чужой счет поживиться... Для среднестатистической семьи происшедшее 2 апреля будет началом материальной катастрофы... Большинство рассчитывает только на себя. Государство отделилось от покупателя. Чтобы выжить, на него надо смотреть так, как оно того заслуживает: как на более сильного, хитрого и опасного противника.»

И так далее, в том же духе, во множестве органов печати.

Конечно, можно не соглашаться с чересчур эмоциональными высказываниями типа того, скажем, что наши правители ведут-де себя как захватчики (оккупанты) с психологией уголовников. Всем понятно, что это больше из области полемического запала и задора. Но что поделаешь против каждодневно лезущих в глаза фактов отнюдь не эмоционального или полемического, а самого что ни на есть соцреалистического характера?

Ф а к т № 1. Принудительные связи, на которых держалась административно-командная экономика — и связи по линии директор — партком — рабочий, и связи по линии заказчик — поставщик распадаются и будут распадаться, потому что нет сил, способных сдержать процессы распада. Конечно, не нужно большого ума, чтобы попытаться сдержать эти процессы вооруженной рукой. Но в таком случае Москва — Ташкент автоматически меняет название на Гавану — Пхеньян. Меж тем, последние без советских миллиардов столь же автоматически дистанцируются от Мехико — Сеула подалее, чем Бельгия — Нидерланды от Руанды — Бурунди. И если мы собственными руками организуем Руанду — Бурунди протяженностью от Бреста до Владивостока, то лишь вопросом времени станет переименование страны в остров Гранаду. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В общем, кошмарное видение: вроде как решили добраться до Америки на «Титанике», используя в топках вместо угля несколько подшивок газеты «Правда». И вот «Титаник», еще задолго до встречи с айсбергами, впал в дрейф, от него отвалился руль, разъезжаются борта, уходит под воду нос, кое-кто из команды пытается спустить шлюпки без единого весла, но большинство продолжает безобразничать по кают-компаниям. И что прикажете делать в такой ситуации!

Факт № 2. Принудительные связи распадаются не только в экономической, но и в административно-территориальной структуре страны. Республика отделяется от «центра» — и тут же от нее отделяются области, от областей — районы, от районов — жэки, и так далее. Трудно представить себе отделившуюся Эстонию без Нарвы и половины Таллина, сколько «н» в него ни подставляй, Латвию — без Риги, Литву — без Вильно и Клайпеды, Молдавию — без Тирасполя и Комрата, Грузию — без Абхазии, Аджарии, Южной Осетии, да еще с полумиллионом турок-месхетинцев, которым не вечно ведь быть в роли Агасфера. В этом отношении благополучно обстоят дела только у Армении, если считать «благополучием» состояние войны с Азербайджаном, у которой, если не достанет разума покончить миром, только один вероятный исход: как только уйдут русские парни в погонах — живые мишени для боевиков с обеих сторон,— так сразу повторение массовой бойни 1915 года собственными силами, правда, на сей раз не только для армян, но и для азербайджанцев. Да, можно и здесь пытаться скрепить расползающуюся империю силой оружия, но в таком случае мы почти наверняка получаем Ольстер, умноженный на Пенджаб и деленный на Афганистан. Вдохновляет!

И это еще только начало. Далее следуют десятки автономных образований, где коренное население составляет далеко не подавляющее большинство, а то и вовсе меньшинство граждан, зато миллионы расселились по соседним областям и республикам. Подсчитано, что если всех начать «расселять» по своим национальным загонам, то такая операция обойдется не менее чем в миллион трупов и в несколько десятков миллионов беженцев, обреченных на мучительную голодную смерть без крыши над головой. Приемлема такая перспектива, товарищи этнократы!

Факт № 3. Скандальное отсутствие реальной политической программы как у правящей, так и у всех без исключения оппозиционных партий. Уже одно это способно повергнуть в прострацию и сделать навеки меланхоликом любого сангвиника. Можно ли представить себе политическую партию без политической программы! Ведь это нечто вроде всадника без головы — ненаучная фантастика. Оказывается, можно, если партия называется КПСС и является на поверку вовсе не партией, а «ограниченным контингентом» лиц, дорвавшихся до многообразных кормушек под прикрытием полутора десятков миллионов заложников, напрочь лишенных и кормушек, и какой бы то ни было идеологии, кроме ностальгическо-инерционной. О бутафорско-декоративных «минипартиях» в этом контексте вообще лучше не упоминать: там вместо членов партий — сплошные вожди, а вместо политических программ — сплошные скандалы.

Но какая может быть программа действий правительства страны по выводу ее из состояния нарастающей материальной, моральной и всякой прочей разрухи, если нет партийно-политической программы! И действительно:

Факт № 4. Наше правительство не знает, что делать, и не имеет никакой конструктивной программы выхода из кризиса — такие поистине устрашающие слова можно было прочитать за последние месяцы в десятках самых различных публичных выступлений. Вот несколько самых последних (май 1991):

«Думаю, что название этого документа (программное заявление правительства В. Павлова.— Ред.) не соответствует содержанию. Это не программа действий. Программу надо наполнить конкретным содержанием, конкретными сроками, конкретными действиями». Слова принадлежат Н. Рыжкову, которому лучше знать, что такое подлинно правительственная программа. Но может быть просто говорит обида отставного сановника! Послушаем другие мнения.

«Антикризисная программа Павлова изначально обречена на провал. Она не остановит ни спада производства, ни роста цен, ни грядущей гиперинфляции, ни разбалансировки бюджета... В этом хаосе, в этой более чем очевидной беспомощности и союзного правительства, и союзного парламента...» Это слова другого сподвижника Президента, Н. Петракова, которого не увольняли, ушел сам. Может, опять всего лишь брюзжание сановника! Послушаем стороннего наблюдателя:

«Поскольку ситуация так серьезна, и поскольку люди ждут результатов, то, как мы считаем, нужно на уровне Союза составить серьезную экономическую программу. На наш взгляд, в прошлом году была совершена ошибка: из многих экономических программ ни одна, по существу, так и не была принята. Центр должен был взять четкие обязательства в дальнейшем экономическом движении». Это — доктор Элизабет Шервуд из Гарвардского университета (США), воплощенное дружелюбие, ни малейшего намека на антисоветизм. Интервью дано 15 мая сего года.

«Нужно составить программу!» «Должен взять обязательство!» И это — в мае 1991 года, спустя почти девять месяцев после «холодного госпереворота» в октябре 1990 года (госперевороты, как и войны, подразделяются на «горячие», с трупами, и «холодные», без оных, но с теми же результатами), когда правительство, вероломно порвав программу «500 дней», ударилось в кровавые авантюры. За девять месяцев, как известно, можно родить не только программу, но и ребенка. Если, конечно, забеременеть. А если вознамериться, по поговорке, «и время провести, и невинность соблюсти» в стремлении удержаться у власти любой ценой,— то откуда же будет программа!

И вновь кошмарное видение: госпоезд сошел с рельсов и катится в пропасть, а в кабине машиниста продолжается партсобрание, и президиум сидит лицом к партактиву, спиной к ветровому стеклу...

Факт № 5. Ни одна страна в мире никогда не спасалась от разрухи без иностранной помощи (это относится даже к СССР 20-х годов, правда, в ограниченных масштабах). И есть мнение, что без такой помощи спасение попросту невозможно. Мнение не обывательское, а официальное, на уровне главы правительства России: «Без использования соответствующих кредитных вложений в нашу экономику, нам с ее разрушенной структурой не справиться, да это и бессмысленно делать» (И. Силаев, март 1991). Тут же приводится минимально необходимый размер инвестиций для стабилизации экономики РСФСР: 90 миллиардов долларов. Стало быть, для СССР эту цифру надо по меньшей мере удвоить.

А дадут ли нам не то что 180 миллиардов долларов, а хотя бы 180 центов! Нет, заведомо не дадут. Почему! По двум причинам. Два западных финансиста от имени Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития (без содействия которых сколько-нибудь существенные кредиты не заполучить) недву-

смысленно заявили: «Мы не считаем, что пришло время для крупномасштабного финансового содействия Советскому Союзу, так как в стране налицо неблагоприятные внутриполитические изменения. К тому же программа реформ запущена, и надо еще убедиться, что она сработает на практике... Постепенность в осуществлении рыночных преобразований, которой сейчас придерживается советское руководство, неприемлема. Состояние советской экономики таково, что для выхода из кризиса необходимо встать на путь радикальных рыночных реформ».

«Отсутствие у СССР возможностей вступить в Фонд и во Всемирный банк фактически означает,— подводит итог комментатор,— что Советский Союз лишается возможности использовать заведомо эффективные схемы, разрабатываемые Фондом и Банком, и вынужден будет искать дорогу методом проб и ошибок — чем, собственно, и занимается последние пять лет.»

Как говорится, яснее не скажешь.

Итак, первая причина: понятное нежелание финансистов продолжать денежные вливания, бесследно уходящие в песок нашей «неэкономной экономики», которую по сию пору никто так и не собрался сделать «экономной», вопреки пламенным призывам Леонида Ильича.

Вторая причина: отсутствие элементарного доверия на Западе к Советскому правительству. Мы с вами непрестанно вопием (в пустыне московского Кремля) о необходимости «правительства народного доверия и национального согласия», подразумевая, что существующее правительство отличается прямо противоположными характеристиками. Спрашивается, почему западные финансисты должны вести себя по отношению к Кремлю иначе! И что сделали в Кремле, чтобы недоверие сменилось доверием! Да ровным счетом ничего! Мало того, сделали все, чтобы недоверие нарастало.

Сначала пулеметная очередь диких по несуразности авантюр, повлекших человеческие жертвы. Затем выступление второго в государстве лица в адрес западных банкиров, которое трудно оценить иначе, как хулиганское, и за которое уже принесены более или менее неуклюжие публичные извинения. Наконец, еще более неуклюжая попытка смошенничать в «три наперстка»... простите, за неимением в стране и наперстков тоже, в три танковые дивизии, которые, чтобы избежать договоренностей о сокращении, перекрестили «из порося в карася», объявив чем-то вроде танковых эскадр нашего доблестного военморфлота. И вы хотите, чтобы такой специфичной хитровско-сухаревской публике доверили взаймы хотя бы одну долларовую бумажку!..

А без займов бессмысленно даже и пытаться (см. выше).

Наконец, ф а к т № 6. По сообщениям печати, прошлой осенью ушло под снег около половины урожая. Из собранной половины, в свою очередь, раструсили по дороге и сгноили в наших «недохранилищах» свыше трети. Наконец, из выпавшего на стол «сухого остатка», по причине несъедобности приготовленного (особенно в общественных неспецстоловых) и фантастического уровня культуры питания, пошло на помойку еще около трети. Добавьте к этому ажиотажный спрос, когда набирают всего не по потребности, а сколько унесут — на всякий случай, ибо другого может не представиться, и когда из восьми мешков картошки, запасенных соседом, пришлось выкинуть три сгнивших, а из двух мешков разных круп, запасенных соседкой, пришлось выкинуть один, сплошь в червяках и прогорклый.

Спрашивается, можно ли рассчитывать на чудо, на то, что на поля через полгода задарма выйдут миллионы людей и соберут колхозно-совхозные урожаи! Не вернее ли предположить, что под снег уйдет

еще больше, чем в прошлом году, а раструсим, сгноим и выбросим на помойку не меньше! Но сейчас население живет в основном многомесячными запасами, которые к концу лета у большинства безусловно истощатся. А при ажиотажном спросе на всех не хватит ни при каких урожаях. И не наступит ли время вспомнить о массовом голоде 20-х, 30-х и 40-х годов, когда каждый раз мучительная смерть укосила от 2—3 до 6—8 миллионов жертв!..

На этом адажио реквиема по нашей жизни, как и предупреждалось, переходит в престо. Продолжать «за упокой» нет больше сил (хотя убийственных фактов хватило бы еще на сотню страниц). Пора, давно пора, при любой степени обреченности, безысходности, отчаяния, переходить от минорной тональности к мажорной.

Иначе действительно не выжить.

Часть II. ЗА ЗДРАВИЕ

Хорал

«Не умирай раньше смерти,— учил нас, шестидесятников, не кто иной, как Корней Чуковский, сам хлебнувший лиха со своей, как прозорливо усмотрела еще в 1928 году Н. Крупская, заведомо антисоветской «Мухой-Цокотухой» и заведомо антикоммунистическим «Тараканищем»,— барахтайся до последней минуты! Вытравляй у себя из души всякую хилость и дряблость».

А как прикажете «барахтаться», когда яснее ясного, что, с одной стороны, без нормализации нашей ненормальной, в буквальном смысле выжившей из ума «неэкономной экономики», любая политическая программа повисает в воздухе, а с другой — без последовательной и конструктивной политической программы выхода из кризиса сумасшедшая экономика и взбесившееся от ужасов социализма общество так и останутся сумасшедшей и взбесившимся! Порочный круг! Чертово колесо! Стрела Аримана и отзвук инферно — как сказал бы еще один духовный наставник шестидесятников, Иван Ефремов.

А вот так и «барахтаться», возможно более жестко увязывая политическую программу с радикальными и последовательными экономическими реформами. Никакого иного пути в поле зрения нет.

При этом мы не должны больше давать вводить себя в заблуждение разными бессмысленными идеологическими иероглифами типа «социализм-капитализм» или «соцвыбор-комперспектива» и тому подобных наглых измышлений кучки партократов, бюрократов, плутократов и прочих «кратов», прикрывающих этим пустословием понятное стремление сохранить свои «спецпривилегии». Мы не должны забывать, что на самом деле наш «социализм» — это диктатура люмпен-пролетариата в составе 30—40 семей на уровне каждого района страны, сплоченных воровской круговой порукой, чтобы безнаказанно пожирать весь поступающий в район съестной дефицит, оставляя прочим лишь «колбасу для населения», которой брезгуют даже кошки (да и ту по нормам тюремной пайки), чтобы раскупать завезенные импортные штаны и ботинки по десятке, оставляя прочим возможность приобрести такие же в кооплярьках по тысяче, чтобы непрестанно «улучшать» свои «жилищные условия», предоставляя прочим годами стоять в бесконечной очереди за жильем, чтобы каждый год отдыхать в санатории задарма или за сотню вместо полутора тысяч «для прочих» и так далее.

Те же полсотни семей появляются этажом выше на уровне области, республики, военного округа, министерства (пардон, концерна) и далее со всеми остановками, только здесь уже не просто дефицит, а сплошь бесплатные банкеты трижды в день, поездки за шмотками в Италию, десятки шикарных шуб, миллионные дачи, миллионные ожерелья для жен, дочерей и любовниц, дармовые объятия «спецобслуги» и прочая роскошь, которая не всякому западному миллиардеру по карману. И главное — упоение сатраповой властью.

И вы думаете, что вся эта публика, с ее хорошо известной нам сегодня психологией и «менталитетом» (в кавычках), способна добровольно, без самой ожесточенной борьбы, отказаться от такой добычи, отвалиться от своих кормушек! Нет, опыт последних лет наглядно показывает, что такие люди расстаются с добычей, как пес с костью,— только злобно лая и кусаясь. Пинок — «подвижка», пинок — «подвижка»; так, и только так вершится новейшая история первой (и, наверное, последней) в мире страны реального социализма.

Выясняется, что мы зря списали в архив строки революционного гимна. «Наш разум возмущенный» может кипеть сколько угодно, но пока мы не встанем, «проклятьем заклейменные», мы, «мир голодных и рабов» (а разве не заклейменные, разве не рабы!), пока не разрушим мир насилья, разве построим что-нибудь путное, разве скажем, наконец, с облегчением: «а паразиты — никогда»!

Как вставать-подниматься рабочему народу! Только путем всеобщей стачки на основе конструктивной идеологии, конкретной политической программы выхода из сумасшедшего дома, из общесоюзной «психушки», куда нас загнали 73 с лишним года назад. Или, что то же самое, путем конструктивной идеологии, конкретной программы реформ, подкрепленной массовым рабочим движением. Без последнего первые — пустая болтовня. Без первых последнее заранее обречено на поражение.

В этом контексте величайшим позором в истории нашей так называемой интеллигенции (она же — «так называемые демократы») останется 1991 год, когда она постыдно предала бастующих шахтеров, утопив их движение в своих слюнях и фактически выдала с головой, отдала на растерзание нашему так называемому правительству, допустив разрозненность и идейную безоружность забастовочных сил. Если это повторится и продолжится — не миновать нам не позднее 1992 года вселенского Тяньаньмыня от Архангельска до Кушки, и первым заткнут глотку пулями нашим парламентско-газетным слюнтяям.

А ведь политическую программу антикоммунистического рабочего движения не надо выдумывать. Она буквально выстрадана и во всех своих деталях многократно провозглашена с самых различных трибун. Только никому не досуг хотя бы на минутку оторваться от своих любимых детских игр в дочки-матери, то бишь в минипартии-максивожди и свести выстраданные пункты воедино, на знамя рабочих, грозных своим всеобщим забастовочным движением, перед которым бессильны и МВД, и КГБ, и даже МО, не говоря уже об опереточных сегодня парткомах и пленумах разных «цеков».

В самом общем виде, если кратко перечислить наиболее конструктивное из многократно высказанного, представляется следующая политическая программа:

1. Приватизация. Свободу инициативе, предприимчивости, предпринимательству! Все государственное — неизбежно государственно-бюрократическое и стало быть — неизбежное зло. И, как всякое зло, должно быть наименьшим: только там, где частное предпринимательство

невозможно или грозит чрезмерными издержками. Все мелкие и средние предприятия — на беспривязное содержание, на усмотрение хозяина-предпринимателя. Все крупные предприятия — на усмотрение менеджера, ответственного перед собранием акционеров (не исключая, понятно, и работников самого предприятия, но не как получателей зарплаты, заинтересованных все побыстрее «проесть», а как держателей акций, заинтересованных в прибылях, сопоставимых с зарплатой). И все это — вовсе не «капитализм», а выработанный столетиями экономический инструментарий человечества, без применения которого — километровая очередь за 100 граммами колбасы «для населения», и более ничего. И все это — конкретно по предприятиям и месяцам. Иначе — пустословие. Иначе — горбачевские «концерны» вместо сталинских министерств, и более ничего.

2. Маркетизация. Цивилизованный рынок. Цены на основе баланса спроса и предложения, а не объявленные приказом на радость продавцам из-под полы. Искоренение таким путем самого понятия «спекуляция». Социальная защита населения на время перехода к рыночному балансу спроса и предложения либо временным сохранением фиксированно-льготных цен на узкий круг товаров прожиточного минимума (с особым вниманием к детям, учащимся, пенсионерам и другим группам населения, для которых переход к рынку оказывается особенно болезненным), либо временным же распределением товаров прожиточного минимума по спискам жильцов — как в годы войны. Возможно сочетание того и другого подхода с учетом местных условий.

3. Цивилизованному рынку не быть, пока по нему расхаживает партгосунтер Пришибеев, указывая, кому, что и почем продавать, а заодно сгребая в свой бездонный карман что приглянулось. Не быть, пока на базаре единственный продавец-монополист, диктующий свои баснословные цены пострашнее госкомценовских бюрократов. Не быть, пока за спинами продавцов прохаживается «бык»-рэкетир, самолично назначающий цены и с финкой в руке следящий за ними, взыскивая по четвертному с каждого килограмма мяса, проданного по 50 рублей, взрезая как кабанчика каждого, кто осмелится продавать по 49. Стало быть, чтобы рынок не стал хитрово-сухаревским, необходима дебюрократизация — искоренение возможности чиновничьего вмешательства в дела продавцов, демонополизация — развязывание здоровой конкуренции, демафизация — ликвидация положения, когда за каждым продавцом, как за каждой проституткой, стоит сутенер, забирающий львиную (точнее, свою шакалью) долю прибыли.

А как дебюрократизировать, если тотально забюрократизирована все и вся, если эта операция всегда поручалась и сегодня поручается только бюрократам! Как демонополизировать, если у нас монополизировано все и вся, начиная с дирекции Большого театра и кончая президиумом Большой академии, не говоря уже о политбюро Большой партии, если у нас каждый плевый начальник — монополист, зубами рвущий каждого, кто посягнет на его монополию! Как демафизировать, когда мафия не только сильнее государства, но срослась с ним в виде пресловутой «коррумпированной части(!!) партгосаппарата», и государство перед организованной преступностью постыдно бессильно как преподаватель марксизма-ленинизма перед уличной шпаной!

Не вижу в стране иной силы для решения таких задач, кроме стачкомов, идейно вооруженных соответствующей политической программой, опирающихся на дружины рабочей общественности. Опыт последних лет наглядно показывает, что только так обеспечивается надлежащий общественный порядок. И только так может быть обеспечена дебюрократизация, демонополизация, демафизация рынка.

4. В стране растет национально-освободительное движение. И будет расти, доколе «центр» будет обирать «окраины» хуже наполеоновских реквизиций (по официальным данным, грабят-вывозят до $^2/_3$ произведенного, по лично слышанным мною в Зауралье данным 1986/87 гг.— до $^9/_{10}$; такого не позволял себе никогда ни один захватчик-оккупант!); доколе будет оставаться под угрозой исчезновения национальная культура народов страны (включая самый многострадальный — русский народ), доколе республики-государства будут делиться, как говядина, на перво-, второ- и третьесортные. Решение национального вопроса простое: суверенитет должен начинаться с личности и города (села), убывать от города и района к республике и «центру» (оставляя за последними только то немногое, что нельзя решить на местах); все республики должны быть принципиально равны, как члены ООН (что не мешает им объединяться в региональные федерации и конфедерации); должна получить максимальное развитие национально-культурная автономия, позволяющая оптимально решать вопросы развития образования и культуры данного народа, независимо от места проживания его представителей; национальный государственный язык должен мирно сосуществовать с межреспубликанским рабочим, отнюдь не являясь искусственным камнем преткновения и провокационным яблоком раздора; надо уделить специальное внимание формированию крупных межреспубликанских экономических районов, позволяющих оптимально решать вопросы развития региональной экономики; наконец, разбойничий 90-процентный ясак должен быть заменен разумным цивилизованным налогом (по согласованию с республикой-налогоплательщицей), а сверх того — торгуй произведенным где хочешь по договорным ценам.

Однако эту подпрограмму вряд ли удастся провести в жизнь, доколе не обуздаем Сциллу кремлевских ермаков, все еще объятых думой, как бы ободрать дикие брега иртышей, которые уже и без того ободраны до нитки, а также Харибду разнообразных кучумов виссарионычей местного значения, готовых нагромоздить горы трупов, лишь бы дорваться до власти и строить культ своей личности в одной, отдельно взятой республике. Иными словами, пока не поймем, что этнократ — такой же лютый враг своего народа, как и партократ, бюрократ, плутократ.

5. Экономических и региональных проблем не решить, пока будут существовать всесильно-бессильные советы, подменяющие собой действительно законодательную власть, пока исполкомы-министерства не перестанут играть в свои паркинсоновско-бюрократические игрушки и не исчезнут с лица земли, давая простор органам действительно исполнительной власти, пока «нарсуды» с их постыдной ролью «коллгерлс» (то бишь, девочек на побегушках, готовых по первому телефонному окрику на любое угождение властному «клиенту») не превратятся в действительную судебную власть, готовую привлечь к судебной ответственности, буде потребуется, любых горбачевых, рыжковых, лукьяновых и павловых,— а поводов для такого рода повесток в суд за минувшие времена было хоть отбавляй. Словом, пока не будет действительного, не показушного разделения властей на основе действительной партийной системы, которая вся целиком у нас еще впереди, ибо существующие псевдопартии (включая пресловутую КПСС) — это просто стыд и позор в истории нашей страны, и ничего больше.

6. Экономических, региональных и социально-политических проблем не решить, пока наша страна по воле царящих в ней саддамов и хусейнов (а вы полюбуйтесь на экран телевизора: что ни саддам — то хусейн!) не перестанет изображать из себя Ирак, нацеленный на Кувейт. Неужели не ясно, что гонка вооружений проиграна окончательно и бесповоротно, что тягаться с вчетверо более экономически сильной махиной так же бессмысленно, как Руанде-Бурунди — угрожать Бенилюксу! Что мы смешны в глазах всего света со своей полусотней тысяч танков, которые можно направить только целиком в Персидский залив! Что армия, превращенная усилиями тимошенок-язовых-макашовых в помесь бурсы и тюрьмы, годится только для разгона мирных демонстраций (да и то не всех)! Что военно-промышленный комплекс, который, вместе с имперскими амбициями, поглощает до 70 копеек с каждого заработанного нами рубля, разоряет страну вконец хуже всякого захватчика-оккупанта!

Отсюда лозунг: решительная демилитаризация страны, конверсия, перевод военной промышленности на мирные рельсы, формирование профессиональной армии (и не в 1999, а в 1991 году!), которая, по принципу оборонной достаточности, была бы достаточно боеспособна — в отличие от существующей — чтобы охранить страну в случае необходимости.

Да, конечно, судьбу миллионов работников оборонной промышленности и сотен тысяч офицеров нельзя сбрасывать со счета. Но нельзя же ее устраивать и за счет сотен миллионов жителей страны!

7. Решение вышеперечисленных ключевых вопросов открывает путь к оптимальному решению других социальных проблем советского общества. Имеются в виду и спасение гибнущей семьи, и реформа выжившего из ума народного образования, и реанимация сгнивающей заживо науки, и гальванизация агонизирующих учреждений культуры, и превращение нашего здравозахоронения в здравосохранение, и предотвращение превращения наших сверхгигантских городов-героев в апоплексические города-уроды, и приостановление процесса тотального умерщвления флоры и фауны на одной шестой земной суши, и контрнаступление на обезумевшую от безнаказанности преступность (включая «черную» экономику), и цивилизованное решение проблемы денаркотизации общества (включая как неизбывное пьянство, так и надвигающееся половодье собственно наркотиков, перед которыми наше государство пока столь же бессильно, как и перед хулиганами-бандитами). И многое другое.

Кстати, не лишне заметить, что все эти проблемы тесно связаны друг с другом, и что решение одной из них (например, режим наибольшего благоприятствования работающей женщине-матери с малолетними детьми) помогает оптимальному решению другой — в частности, значительно ослабляет угрозу массовой безработицы, а вместе с программой массовой переподготовки людей на пустующие рабочие места и всемерного развития частного предпринимательства и вовсе сводит эту угрозу на нет.

Таким образом, давно предлагаемая многими светлыми умами страны политическая программа выхода из кризиса — один из вариантов которой изложен выше — открывает свет в конце туннеля. От нас, от нас с вами, читатель, во многом зависит, как скоро мы доберемся до выхода из марксистско-ленинского лабиринта и увидим чистое небо над головой, как во всех цивилизованных странах мира.

Как же тут без публицистики! Просто рука не поднимается сегодня ни на что другое.

Когда читатель раскроет эти страницы, писанные в мае 1991 года, будет ясно, кто победил на президентских выборах 12 июня в России (реакция пытается раздробить голоса избирателей и оттянуть на себя возможно больше, чтобы довести дело до второго тура и дать генеральное сражение, но 6-7, если не 8-9 шансов из 10 на победу пока остаются у Ельцина). Главное же, будет ясно, останется ли Горбачев лояльным к соглашению «9+1», которое превращает его из диктатора в председателя коллегии из девяти по меньшей мере формально равных членов, или попытается, как в октябре прошлого года с программой «500 дней», рывком восстановить свое самодержавие. Но как бы ни сложились дела — решать вышеперечисленные проблемы так или иначе все равно придется. Был бы фидеистически верующим — помолился бы за благополучную судьбу своей страны. Но так как воспитан атеистически верующим — остается верить в счастливый конец.

И в торжествующе-мажорные аккорды хорала, которые приглушат пока еще раздающиеся в ушах унылые звуки реквиема, заупокойной мессы по неудачному социальному эксперименту, жертвою которого мы пали в борьбе роковой.

ПОЧТА «ГОРИЗОНТА»

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ!

Я первый раз за свои 52 года пишу в редакцию. Я никогда не могла молчать, даже когда стены имели уши, и КГБ, знаю, имело меня на замечании, но говорила я знакомым, а «слова к делу не пришьешь». А вот теперь пишу, пусть эти слова пришивают, молчать нет сил.

Я вот о чем. Вся наша семидесятилетняя ошибка очевидна всем, но ошибку-то надо исправлять. Свергнув в 1917-м году одного царя, воцарялись поочередно другие и еще более узурпаторски угнетали народ. Прогнали капиталистов и помещиков да гайдаровских «буржуинов», а сколько этих буржуинов от партократии сосали 70 лет кровь у рабов России? И что же, что сосали и сейчас сосут — ясно всем, а сбросить их нет сил?!

Надо же устроить суд над этими дармоедами, которые со своей голубой кровью имели райскую жизнь: роскошные квартиры и дачи, госмашины (молчу о свите портных, горничных, парикмахеров, садовников и прочих лакеев и рабов), пользовались спецмагазинами, спецбольницами, спецсанаториями и другими подобными спец... их не перечислить, ничего никогда не производили, а только паразитировали, да они и не умели делать в жизни ничего, кроме заложенной в их мозг программы КПСС и ее общих лозунгов, а теперь получают или будут получать пенсию наравне с тем рабом, который его кормил, а порой и гораздо большую.

Отменить им всякую пенсию и раскулачить их немедленно?

Вот сейчас будет продаваться земля, будут продаваться акции на совместное владение госпредприятиями. Кто их купит? Я? Женщина, работающая электромонтером? У меня никогда не было возможности отложить какую-то часть зарплаты, так как я жила, как говорится, от получки до получки. А купит акции наш парторг (секретарь парторганизации), ведь у него зарплата была не ниже директорской. Они, эти коррумпированные спруты, свои щупальца далеко раскинули и присосались надежно, отодрать их трудно, но кричать надо!

Им, «ведущим нас к светлому будущему» и приведшим к нашей сегодняшней жизни, положить бы минимальную пенсию, какую получала моя мама — 29 руб. 60 коп. Или совсем недавно умершая моя тетя, которая тоже чуть подольше мамы, то есть 57 лет прожила на этом свете, трудилась всю жизнь, а заработала пенсию 57 руб.

Дорогие мои люди! Что же делается-то? Ради Бога, скажите со своих страниц о незаработанных пенсиях длинноязычных краснобаев.

Хоть пару слов ответьте мне, если нетрудно, права ли я, или у меня от хаоса в стране мозги набекрень сдвинулись?

Э. М. ШОРНИКОВА,
г. Дедовск Московской обл.

Помещая это письмо, редакция надеется, что читатели выскажутся по вопросам, поднятым в нем.

Зинаида Миркина

МОЙ БРАТ ВОРОБЕЙ

Революционной героикой нас кормили с детства. И перекормили. Легенды о Чапаеве сменились анекдотами о Чапаеве. Умирающая революционная романтика была добита смехом.

Не так ли в свое время был добит смехом рыцарский роман и в литературу въехал на своем тощем Россинанте рыцарь печального образа с тазиком цирюльника вместо шлема? Въехал и стал сражаться с ветряными мельницами. Он был очень смешон, этот длинный, как жердь, мечтатель со своим плутоватым оруженосцем. Кто только над ним не смеялся! Граф и графиня Монтесинос устроили себе уморительное развлечение, выставляя на посмешище доверчивого безумца. И наконец додумались до поединка рыцаря со львом.

Но когда одинокий человек подходит к клетке и раскрывает ее, смех сворачивается, гаснет при виде этих двух львов... Смех, убивающий ложную героику, зачеркнут истинным величием. Молчаливо раскрывшейся высотой духа. Оказывается, не так-то просто убить эту высоту. До нее еще дорасти надо...

Так смешон Дон Кихот или велик? Смеяться над ним или восторгаться? Ни то, ни другое в отдельности. И то и другое — вместе.

Оставлять Дон Кихота безусловным героем невозможно. От него надо спасти тех, кого он спасает. И чем скорее, тем лучше. И над ним можно смеяться, вернее, нельзя не смеяться, видя, как человек сражается с ветряными мельницами. Но смеяться вправе только те, кто, смеясь над Дон Кихотом, и над собой смеется.

Нужно уметь высмеять утопичность своих прекрасных порывов, потерю чувства реальности. Но если вы будете высмеивать это извне, а не изнутри, если вы надругаетесь над Дон Кихотом, вы надругаетесь над своим собственным сердцем, вы отрубите от себя лучшее, что есть в вас самих. Дон Кихота надо спасти от улюлюкающей толпы, от тех, кто понятия не имеет, что такое вера и жертва.

Но, собственно, кто у нас Дон Кихот? И был ли он вообще? Неужели были среди революционеров такие благородные идеалисты?

С революционерами теперь все ясно. Они не только высмеяны. Они прокляты. Это бесы, и тени их надо изгнать из России, чтобы духу не осталось. Так вот все просто...

Не знаю, похож ли Симон Тер-Петросян, соратник Сталина, легендарный Камо, на реального Камо — героя повести А. Зурабова «Тетрадь для домашних заданий» (и телефильма «Монолог Камо», сделанного на ее основе), но мне это так же неважно, как неважно было Ивану Карамазову, похож ли его «великий инквизитор» на реальных инквизиторов. Там и здесь схвачена идеальная суть трагического явления. Там и здесь герой становится объектом глубокого раздумья.

Революционерам было совершенно ясно одно. Нам теперь — прямо противоположное. Но опять — все ясно и остается только действовать.

А вот герою Зурабова не все ясно. Он переживает странное, мучительное состояние, когда надо не действовать, а **думать**.

Оказывается, это много труднее. А уж додумать все до конца — труд совсем неимоверный, ибо это значит — разобраться в своей душе, познать себя.

Издавна это считалось религиозным трудом, «духовным деланьем».

Камо ничего об этом не знает. О религии представления у него самые смутные. Он — человек действия. И в то же время — человек «с проснувшейся душой». «Пока душа спит, человек думает о себе,— говорила его мать.— Когда душа просыпается, человек думает о других. Душа у тебя рано проснулась, Сенько, бедный Сенько, душа не даст тебе спокойно жить».

Мать... В детстве он ходил с матерью в церковь. «Отче наш» наизусть знал, раздавал нищим милостыню, плакал... От одной мысли о матери душа разгоралась, как свечка. И он как бы входил в то пространство, где огонь этой свечи свято берегли, где он был бесконечно нужен, этот трепетный огонек...

«Мама, а когда ты молишься, глаза у тебя открыты или закрыты? — Не знаю, Сенько». Такая полнота погружения внутрь... Она не видела себя извне. Она ничего о себе не знала. Она — была, и в его жизни была святыня.

Он через всю жизнь пронес эту святыню. Но ведь ее защищать надо было! Ведь нельзя же было сидеть сложа руки и смотреть, как пьяный отец избивает мать. Вот когда Сенько впервые взял оружие в руки. Что подвернулось, то и взял: топор. Он взял топор и вошел в комнату, полный такой решимости, что отец, не на шутку испугавшись, выпустил свою жертву. И эта решимость не покидала Камо никогда. Вся его жизнь была жертвенной защитой святыни. Защитой матери. Только этим он и жил, но...

Он вспоминает тот первый митинг, ту демонстрацию на Дворцовой, когда он вскинул красный флаг, а люди подняли его самого. «Он стоял на чьих-то плечах и говорил, уже не узнавая своего голоса. Это было после армяно-татарской резни (татарами тогда называли азербайджанцев.— **З. М.**). Он кричал о том, что нет вообще наций, и скоро ни дашнаки, ни кто другой не сумеют отделить один народ от другого... но для этого надо сначала скинуть царя и всех других, кто разделяет народы и натравливает один народ на другой...»

Надо было во что бы то ни стало прекратить этот ужас, эту резню, как надо было остановить пьяного отца. И ему это удалось. Это был его первый триумф. Он видел вокруг себя восторженные лица, он владел сердцами. Великий час его жизни. Но почему потом, когда он сравнивал этот свой час с глубочайшими молитвенными часами, проведенными рядом с матерью, он чувствовал что-то не то?.. С матерью «и покой был, и благость». А тогда, на Дворцовой площади,— ни покоя, ни благости. «Он словно перестал быть тем, кем был до этого, и стал кем-то другим, кто вмещал не то, что он прожил до сих пор, а наоборот, освобождал его от всего». Да, он сливался в одно с толпой и возвышался над ней. И упивался свободой, но это было «освобождение не от внешнего, а от самого себя; не радость, а если и радость, то от сознания своей силы и всеумения и даже могущества; а от той, материнской свободы,— чувство беспомощности и неотделимости от мира, над которым тогда, на Дворцовой, он почувствовал свою власть».

Вот оно, оказывается, что... Всю жизнь действовал во имя своей Святыни. И выходит, что все-таки от святыни отошел. Как это получилось? В этом ему и предстоит сейчас разбираться. Об этом думать. Но это бесконечно трудно. Думать он не привык. Только действовать. А может быть нам надо учиться думать вместе с ним? Или нам теперь все ясно и «для чего же читать, если все ясно»? Читать, думать — для чего?

Ему казалось, что только Революция способна разбудить души людей, разрушить спячку эгоизма личного, классового, национального. Чтобы не погибла мать, надо поднять топор на отца. Чтобы не погибли добрые, надо поднять оружие на злых. Так ясно... Ведь другого пути нет.

Какой горчайшей насмешкой звучит для нас сейчас эта уверенность. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» уступил место другому: «Пролетарии всех стран, извините!» Будить души топором оказалось слишком опасно. Это мы ясно видим теперь, через три четверти века. Мы теперь знаем, что так нельзя. Но какие же выводы делаем из этого? — Назад к «неразбуженной душе» («Нельзя в России никого будить»,— писал Наум Коржавин), к тому «идиллическому» прошлому, где отец спокойно убивает мать, а турки вырезают армян?.. Ну что ж, это вернуть оказалось не так уж трудно... Но только теперь, когда вспыхнула новая азербайджано-армянская резня, некому и **нечем** остановить ее... Нет никакой собирающей энергии — одна разделяющая.

Недавно я прочла в одной благородной статье, автор которой в ужасе от радикал-национализма, слова о том, как безобразное националистическое собрание разрывало в клочья лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И при всем своем отвращении к тем, кто разрывает лозунги, автор заключает: «Вот чего мне не жалко, так этого лозунга». Автору кажется, что и этот лозунг, и лозунги радикал-националистов — две стороны одного и того же... Может быть — по следствиям. Однако при своем возникновении интернационализм был призывом к защите всех обездоленных, призывом к самозащите «проклятьем заклейменных» от «ликующих, праздно болтающих»... И — каждый человек с совестью мог примкнуть к нему. Пролетарский интернационализм в истоке своем не был **ни для кого закрыт**. Террор против классовых врагов пришел позже. В истоке, в идее это был призыв ко всем — отказаться от всякого эгоизма. Камо хочет жить для всемирной революции, потому что все другое ему кажется бессмыслицей: разве может быть революция русской или английской? Тогда опять эгоизм, опять отгораживание. Революция — это справедливость для всех. **Это самоотдача...** Мир представляется этим мечтателям всеобщим братством. И капиталиста Шредера Камо так же зовет в это братство, как любого бедняка. Шредер не верит в осуществление идеалистических замыслов. Но Шредер покорён личностью Камо. Старый капиталист видит в Камо рыцаря великой мечты о справедливости.

Что же делать с рыцарями? Нет, мы не хотим, чтобы они боролись с ветряными мельницами и, думая, что освобождают нас от рабства, ввергали бы в рабство еще более жестокое. Мы не хотим, чтобы Дон Кихот делал то, что он делал. Но нам совершенно необходимо, чтобы он **был**, чтобы он не исчезал с земли — рыцарь, которому жизнь любого обиженного гораздо дороже своей собственной. Жизнь на земле есть до тех пор, пока есть такие рыцари. Не будет их — и жизни не будет.

«Поднявший меч от меча и погибнет,— сказал Христос тому, кто бросился его защищать мечом.— Вложи меч свой в ножны.» Камо и есть новый Петр, поднявший меч для защиты своей святыни. Камо и все его братья по вере. Ибо революция стала верой, совестью, смыслом для многих Камо...

И раздумывающий Камо бесконечно запутывается в своих мыслях. Ему никак не удается свести их воедино. Они все время рассыпаются... Вот он вспоминает то, что говорили Кон и Либкнехт: «Истина в том, что все едино. Мне кажется, все, что способствует едине-

нию,— правда, а все, что способствует разъединению,— неправда». Прекрасно. Что можно иметь против этих слов? Но от слов надо идти к Делу. Вначале уже было слово и не помогло. Революционер идет от слов к Делу. Революционер зовет все начинать сначала. («Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...») «В природе и в истории все совершается через насилие и если бы не насилие, то не было бы и борьбы, а без борьбы, как известно, нет жизни.»

И почему Соня (жена Камо) все время спорит с этим? Да только ли Соня? Разве Камо не спорит сам с собой? Разве ему действительно все ясно? Он продолжает думать, оглушенный, остановленный этой непривычной тишиной. Тишина все время поворачивает его внутрь. Волей судеб он оказался наедине с собой в этой тишине, от которой так отвык... Ничего не происходит снаружи, но внутри столько происходит! И внезапно приходит понимание, что об этом — о том, что происходит внутри, можно рассказать только стихами. Вот почему так нужен Пушкин — он рассказывает о том, что у нас внутри... И вопрос к самому себе: «Сталин поэтому и писал стихи? Потом бросил. Сталину не надо рассказывать о том, что внутри. **Ему это смешно. Он раз и навсегда перестал заниматься смешными вещами.** (Выделено мною.— З. М.) А мне?»

Нет, ему не смешно. Отнюдь. Поэтому между ним и Сталиным, двумя партийными товарищами, делавшими одно общее дело и имевшими общие убеждения, разница бесконечно бóльшая, чем сходство. Есть ли две более отдаленные друг от друга фигуры, чем циник и Дон Кихот?

«— Я буду против всех, кто обижает, Соня, даже если это будешь ты,— говорит Камо.

— А ты?

— Что я?

— А ты не можешь обидеть?»

И честный Камо соглашается, что может. У него слишком горячий характер. И тогда Соня говорит: кто хочет справедливости, борется прежде всего с собой.

«— Значит так, на улице бьют старуху, а ты сидишь дома, смотришь в окно и борешься с собой?

— У тебя был предшественник, Семен. Он боролся с ветряными мельницами...»

Брак Сони (внучки известного общественного и музыкального деятеля В. В. Стасова) с Камо — это брак русской интеллигенции с русской революцией. Было время, когда интеллигенция и революция в России объединились в любви и доверии. И от того, сможет ли этот брак продлиться и упрочиться, зависит их судьба. Сумеет ли русская интеллигенция облагородить революцию, сумеет ли революция выжить, не утратив своего нравственного пафоса? Сумеет ли разделить поровну хлебы и не забыть о том, что не хлебом единым жив человек? Сумеет ли революция наша, встав однажды на путь насилия, сойти с него, когда достигнет победы? Вернется ли она к великой религиозной истине о любви ко всем людям, даже к врагам? Что такое революционная борьба? Временный отрыв от самого себя, выход изнутри для защиты своего внутреннего пространства или забвение этого внутреннего пространства во имя утопических целей?

Пока еще не поставлена точка над i. Пока есть нарастающий вал вопросов, но еще нет окончательных ответов, пока еще брак держится... Соня и Камо очень любят друг друга, но... «в последнее время

АНАТОЛИЙ КУЛИНИЧ



На льдине



Память

мысли о Соне рождали в нем тоскливое и тревожное чувство, похожее на отчаянье, и это было, как в те редкие дни, когда он терял веру...» Он верит в возможность построить такой мир, где все люди будут братьями. А во что верит Соня? Может быть в Бога? Да, Соня верит «в непостижимый разум, который устроил мир таким, какой он есть». Но как может этот непостижимый разум допускать столько зла?.. И «что же делать, Соня, сидеть сложа руки?» Он так не может. **Он верит в человека, в человеческую способность действовать.**

Соня верит в Бога. А он — в человека. Вот капиталист Шредер не верит в человека. Для него «в человеке больше дерьма, чем разума». Для социалистов — больше разума, чем дерьма. «Дело только в арифметике.»

Но Соня не верит в арифметику. Хотя как это не верить в то, что 2×2=4? У Сони есть какая-то высшая математика. А над нею этот непостижимый разум... Что это такое?

Нельзя сказать, что Камо совсем не знает, что это такое. Когда он застывает, задумывается и боится шелохнуться, чтоб не разрушить чувство единого, он ведь стоит на берегу Непостижимого, на берегу тайны и вдыхает в себя Бесконечность как запах моря. И тогда он ближе к матери, чем когда бы то ни было. Именно тогда, когда он сам не знает, открыты или закрыты у него глаза, душе его становится ясно, что ничто любимое не прошло. Да. Тогда его вновь настигает чувство бессмертия. Именно это чувство он боится спугнуть. Оно такое хрупкое... Надо быть очень тихим, очень чутким, чтобы оно разрослось и упрочилось внутри. Надо суметь не оторваться ни от чего в этом удивительном мире. Хранить внутреннее единство со всем и ничего не делать отдельно от своего тайного великого Дела...

Истинное единение начинается не во внешнем, а во внутреннем пространстве. **Его не создают. Его находят.** Ибо оно всегда есть. Надо только дойти до той глубины, где есть нечто общее для всех. Снаружи оно непостижимо. Его нельзя постичь, оставаясь отделенным от него. Но в него можно войти. Ему можно причаститься.

И ведь Камо это чувствовал очень давно. Может быть — с детства. Потому и стал самим собой, что так чувствовал. Почувствовать себя частью, неотделимой от мира,— это живое таинственное переживание. Думать о других больше, чем о себе... Прекрасно. Но всё ли это? Как именно думать о других? И не встанут ли здесь новые вопросы? «Поэзия выше нравственности, или по крайней мере совершенно другое дело»,— сказал Пушкин. Когда Бах больше думал о других: когда писал свою «Мессу», когда колол дрова во дворе, или делал другое какое-нибудь полезное дело? Кажется, арифметика здесь пробуксовывает.

Внешнее единство — это унификация, упрощение и обеднение жизни. Во внешнем мире существует бесконечность путей, ведущих во внутреннее Одно: бесконечность форм, сквозь которые это Одно просвечивает. Истинное единство только внутри. И соединить, связать воедино внутреннее с внешним можно только путем творчества. Не так-то легко проверить алгеброй, а тем более арифметикой, гармонию. Арифметика измеряет предметы внешнего мира. Истина извне не измеряется, не определяется... На вопрос «что есть Истина?» Христос не ответил, он, как известно, молчал. Перед вопросом «что есть Истина?» человек должен замолчать и повернуть вопрос извне внутрь...

Для Камо этот поворот есть поворот к матери, к своей душе, которая входит вдруг во внешнее пространство и приносит с собой величайшие силы. Только соединяясь со своей безбрежной душой, чув-

ствуя весь мир своим собственным телом, он и может быть тем легендарным Камо. Но... довериться этому чувству до конца он не в силах. Есть какая-то грань, у которой он останавливается, и его ум, его убеждения противятся его душе. Есть такая грань, около которой его вера и его любовь разделяются, и Вера подавляет любовь, отодвигает ее на второй план. Так ради Дела он отказался когда-то от поразившей его гречанки с иконным лицом. Так он сожмет в кулаке революционной воли свою душу и бросит бомбу, когда это нужно будет для революции. И сделает это не один раз, наступая на себя самого и даже на мать, которая — он знает — не поддержала бы его в этом.

А потом лунной ночью в саду вдруг спросит у собеседника, внезапно разделившего его одиночество: «Отчего после победы человеку становится скучно?» И собеседник ответит, что «победа — это поражение». И душа Камо отзовется на это, но так и не найдет слов в поддержку себе, а ум будет говорить что-то совершенно противоположное и так убежденно, что собеседник замолкнет. Он тоже не найдет слов, хотя верит бессловесной душе больше, чем красноречивому уму.

Есть в повести и в фильме сцена, удивительно перекликающаяся со сценой из другой книжки и другого фильма, о которых здесь уже не раз говорилось. Я имею в виду Дон Кихота у клетки со львом. Дон Кихота, раскрывающего эту клетку.

...Конвойные подвели Камо к высокой белой двери и предупредили, что, когда дверь откроется, он войдет один — там его ждет другой конвой.

За дверью его ждал суд. За дверью его ждала смертная казнь. Без вариантов. Один единственный шанс оставался у него — убедить судей в том, что он — сумасшедший. Надо найти способ подтвердить заключение немецких психиатров, опровергнутое на родине. Он выдержал пытки, страшнее которых, вероятно, не бывает. И не дрогнул. Имитация больного, потерявшего чувствительность, удалась. Но всё оказалось теперь бесполезным. Нужно придумать что-то совершенно новое. Что?

И вдруг пришло понимание, что придумывать ничего не надо. Надо только собраться и соединиться воедино с тем, что есть,— со своей собственной вечной Душой.

И вот вся суета отброшена. Никакого страха. Никакой защитной оболочки. Нагота. Обнаженность того, что есть внутри.

Он открывает дверь. И... Ничто не могло привести судей в больший шок, чем это. Ничто не могло показаться этим затянутым в мундиры, завернутым во все кодексы, отделенным друг от друга тысячью одежек людям бо́льшим безумием, чем эта Душа, так вот представшая перед ними во всей своей наготе.

Камо вошел с воробьем за пазухой. Тем самым воробьем, которого ветер занес в зарешеченное окно его камеры. Ветер занес. Мать послала. Так чувствовал Камо. Ибо воробей влетел в ту редкую минуту, когда Камо оставляли душевные силы. И вот все эти силы собрались в нежности к маленькому замерзшему пернатому тельцу. Обогревая и выхаживая птенца, Камо отогрел собственное сердце. В крохотном птичьем сердце и в огромном человеческом как бы одновременно забилась жизнь. Камо почувствовал, что у него есть брат. Что это воробей не важно. Брат — вот что важно.

Войдя в зал суда, Камо увидел длинный стол и за ним людей в мундирах... И пока он шел, гремя кандалами, а солдаты по обе стороны от него, Камо вдруг почувствовал себя необыкновенно уверенно.

Приблизившись к столу и увидев пустой стул, он опустился на него, спокойно достал из-за пазухи воробья, посадил на стол, вынул из кармана хлеб и стал крошить его птице. Воробей клевал хлеб, и Камо, глядя на него, смеялся. Он неразрывно связан с воробьем. Это было для Камо так ясно, что он заговорил об этом — о том, что воробей — его брат, только на нем перья и он маленький. Его прислала мать. Все думают, что она умерла, а она не умерла и прислала воробья!..

Вот и все. Достаточно, чтобы признать человека сумасшедшим.

Итак, подвижник, человек легендарного мужества и сказочной энергии, великой душевной чистоты и красоты, и — террорист, бросавший бомбы, экспроприатор, грабивший кассы,— все в одном лице.

Поэт в душе, для которого важнее всего мир внутренний, и тот, для которого этого мира вообще не существует,— Сталин — партийные товарищи, делающие рука об руку одно дело...

Но разве только в революции началось соседство несовместимостей? Не раньше?

Сотрясавшаяся от войн земля — и любовь к врагам? Погромы и всепрощение? Политика, сплошь основанная на лицемерии, на жестокости,— и поклонение Распятому?

Вдумаемся: неужели это меньший нонсенс, чем Сталин и Камо — в одной партии?

Революция была кризисным ответом на кризис общества. И мы не можем отменить задним числом всемирный кризис из-за того, что нас не устраивает ответ на него. Этот кризис — данность. И революция — данность. Отказаться от прошлого мы не в силах. Единственное, что мы обязаны сделать, это осмыслить его... и таким образом вырваться из слепоты революционных иллюзий, из максимализма оценок и контроценок.

Люди рванулись к свободе, не зная, что это такое. Они хотели построить свободное общество, не став свободными личностями. Стать свободной личностью и освободить личность от внешней власти — задачи совершенно разные, подчас прямо противоположные.

Свободной может быть только целостная личность, нашедшая источник жизни внутри себя. Личность, не нашедшая такого источника, обязательно подпадет под власть внешнего: она зависит от внешнего, а не от внутреннего. Свобода может быть только там, где уничтожена зависимость. Духовная свобода — там, где уничтожена духовная зависимость. Тот, кто не нашел внутреннего источника, верит и надеется на что-то внешнее. И происходит незаметная и роковая подмена.

Чистая, религиозная по своему импульсу вера в светлое будущее уводит душу из глубины вширь и вдаль. Бог, который всегда внутри, замещается кумиром, который всегда вовне. Прекрасен этот кумир или безобразен — это уже второй вопрос. Главное — что он кумир. Кумир нужен тем, у кого нет опоры внутри. Кумиров мы создаем сами. А Бог — то, что **есть**, то, что создает нас. Кумиру мы подчиняемся, с Богом — сотрудничаем.

Бог соединяется с нами внутри нас, кумир возвышается над нами вне нас. Бог это любовь. Кумир — это власть.

И вместе с тем, история все время подменяет Бога кумиром, множеством кумиров. И хотя христианская культура дала образ человека, соединившегося с Богом, в массовом сознании настоящей христианизации не было. И духовная история человечества была лишь историей смены кумиров. Воплощение Бога в истории было бы полным концом вражды, концом страха и ненависти, ибо Бог един для всех.

Это наша **общая** глубина. Найти эту общую глубину — вот высшая задача человека. Только выполнивший ее — свободен.

Но можно ли заниматься этой внутренней задачей, когда на улице «бьют старуху»? Вопрос этот напоминает фарисейский, искушавший Христа. Надо платить пóдать Кесарю или не надо? Скажет «надо» — значит он за неправедные поборы. Скажет «не надо» — тогда он революционер, восставший на власть. Итак, «Кесарю — Кесарево, а Богу — Богово». Итак, защити старуху, но не думай, что в этом задача твоей жизни. Ты живешь во внешнем мире и должен отвечать на его вызов, но ты укоренен внутри, и у тебя есть внутренняя задача. Выполняй внешние задачи, но не давай совершенно вывести себя изнутри во вне. Религия не отменяет внешних задач, но она не сводится ни к одной из них. **Она — не про то.**

Всем сердцем любя Камо, Соня хочет оторвать его от зацикленности на внешних задачах, от фанатической сосредоточенности на них. Она чувствует, что нужна **иерархия задач**, и хочет передать это чувство мужу. Она не отрицает революции. В отличие от сегодняшних разочарованных идеологов, она революцию приняла как данность. Она понимает пафос Камо, но «революция уже сделана, Семен. Надо жить».

Позиция Сони кажется мне близкой к волошинской. Уже в февральской революции он предчувствовал начало хаоса и развала России, однако и февральскую и октябрьскую революцию принял, ибо понимал, что это данность, судьба, и нашел в себе мужество сказать в конце «Северовостока»: «Божий бич, приветствую тебя!» Так примерно и Соня принимает как неизбежность то зло, которое переплетается с добром на всякой войне за добро. Но она предвидит нарастание зла, которое убьет нравственный пафос революции и погубит ее героев. Соня принимает историю. Она только хочет отделить живые и благородные души от той инерции разрушительных сил, которые готовы захлестнуть их. А для этого надо освободиться от **кумира** идеи — всякой идеи. **Живая** идея — та, которая не застывает раз и навсегда, не подавляет своим величием, а каждый раз рождается заново из глубины сердца, из бездны б л а г о г о в е й н о г о в н и м а н и я к жизни. И потому само это благоговейное внимание и есть религиозное действо, подвижнический труд, важнее которого может быть и нет ничего на свете.

Камо, такой, каким его увидел писатель А. Зурабов, не бес, а подвижник, мученик, рыцарь идеи. Однако на высший духовный труд он оказался не способен. Пережить свою идею, остаться наедине с пустотой и там в бездне сердца найти внутренний смысл — вот задача, от которой он отшатнулся.

Может быть, завещав ее нам? Он не сумел пережить свой идейный кризис. Но служить прежней идее больше не мог. И погиб.

Христианство пережило множество идейных кризисов. И если осталось живо, то только потому, что сила его вовсе не в застывшей идее, а в живом Христе.

Вопреки Блоку, Христа за идеями революции не было. Но рыцари этих идей были. И человек, который чувствовал беззащитного воробья своим братом, стóит того, чтобы мы отнеслись к его жизни как к Высокой трагедии, с пониманием и сочувствием.

Только тогда мы можем принять на себя ту задачу, которой он не выполнил.

Яков Шестопал

ВЛАСТЬ ЗАКОНА, А НЕ ЗАКОН ВЛАСТИ

Создадим ли мы правовое государство и когда!

Честно признаться, не очень в это верю. Если это и произойдет, то во всяком случае, не при жизни нашего или ближайшего к нам поколения. Думаю так, может быть, потому, что именно в этом вопросе я, как говорится, исторический пессимист, или, может быть, потому, что немножко знаю историю страны, в которой право никогда не обладало особым приоритетом.

Вспомним: столетиями наше государство было самодержавно-авторитарным, и высшими судьями в нем, высшим законом являлись сидевшие на троне и жадно стоявшие возле него барин и даже мелкого ранга чиновник, полицейский и вообще любой, обладавший хоть крошечной властью. Да и всего 130 лет минуло с тех пор, как отменили крепостное право, и еще меньше — как была предпринята попытка провести в России судебно-правовую реформу. Когда она начиналась, какие надежды на нее возлагались, каким близким казался идеал! И что же! Реформа пошла с переменным успехом, зигзагами, с отступлениями и возрождением, пока не захлебнулась в октябрьской крови 1917 года.

Тогда утвердилось нечто непонятное, иррациональное и страшное — революционное правосознание, допускавшее бессудные казни, произвол, массовый террор. Это не было правосознанием масс, о чем твердили новые вожди. Это было правосознание их самих и окружавшей их партийно-государственной номенклатуры. Именно с ее покорного согласия, при ее рабском участии «отец народов» учинил ей самой кровавую баню, заодно пропустив через эту баню миллионы ни в чем не повинных людей.

Шесть лет назад было торжественно объявлено о закладке первых камней в фундамент правового государства. И нам, охваченным эйфорией перестройки, казалось: вот пройдут демократические выборы, изберем новый парламент, он наштампует сколько и каких надо законов, и под их сенью мы заживем новой, основанной исключительно на юридических нормах, жизнью.

Как же мы обманулись на перестроечном правотворчестве! Уже с самого начала оно натолкнулось на рогатки, выставленные аппаратом, который никогда не мечтал о народовластии, заботясь только об укреплении собственного владычества. Он схватил в свои руки дирижерскую палочку и принялся разыгрывать собственную партитуру. Поэтому невпопад творятся законы, не дополняют и не развивают один другой, не открывают путь к новой экономике. Поэтому они столь противоречивы и велеречивы, отсылают один к другому, поэтому несовершенны, не обладают прямым действием или лишены механизма применения. И в результате — либо мертвы, либо уподобились знаменитому нашему дышлу. И вообще никем не выполняются — ни гражданами, ни органами, обязанными их применять ради блага тех же граждан, общества, государства. Примеров тому тьма, и каждый читающий хотя бы одну газету, слушающий в день хотя бы полчаса радио, глядящий хотя бы час на экран телевизора, может вспомнить их.

Да и могут ли они быть совершенными, открывать простор твор-

честву, труду, предприимчивости, изобилию, если, несмотря на отмену статьи 6 Конституции, у власти по-прежнему находится та партия, которая насаждала беззаконие, уравниловку, всеобщую бедность! Она насмерть стоит за так называемый социалистический выбор, неизвестно, кем сделанный, и на том основании продолжает бесконечную идеологизацию законов. Социалистическая риторика играет роль важнейшего компонента нашего юридического варева. Отсюда — туманности формулировок, потуги на всеохватность и не знающая примеров многословность, отсюда — бесконечное «дальнейшее совершенствование».

Сравните нашу Конституцию хотя бы с Конституцией США. Американская, принятая в 1787 году, содержит всего 7 статей, которые за все годы ее действия пополнились лишь десятью статьями-поправками. У нас же за 70 лет сменили одна другую уже 4 конституции, каждая более чем с сотней, а то и почти с двумястами статей. А постоянно принимаемые к ним добавления и исправления могли бы составить солидную по объему книгу.

Между тем сила закона, Основного в особенности, состоит как раз не в бесконечном улучшении, а в его стабильности. Поэтому лишены оснований теории, будто каждый очередной этап развития страны, тем более этап в каких-нибудь 10—15 лет, требует новой конституции. Те же США за более чем двести лет, минувших со дня принятия основного закона страны, прошли путь от рабства до, выражаясь нашими постулатными формулами, высшей стадии капитализма, но вполне обошлись одним-единственным.

Не верю в скорое построение правового государства еще и потому, что сомневаюсь в правотворческой способности наших законодателей. Пусть простят меня пребывающие в этом качестве академики и рабочие, пахари и руководители производств, аппаратчики и педагоги, но многие из них в этом деле в лучшем случае дилетанты. Будучи мастерами в своих профессиях, в юридических проблемах они даже не подмастерья. Так что мало надежд на полноценность норм, творимых более чем 2200 парламентариями, из коих юристов — всего несколько десятков. К тому же к ним мало прислушиваются, считая по обывательской привычке «крючкотворами», которые «мудрят», выдумывают незнамо чего...

Откуда быть вере, если наши ведомства сами для себя же разрабатывают и предлагают законодательным органам законы, что немыслимо ни в одном цивилизованном государстве. Естественно, заботятся они о максимуме прав и минимуме обязанностей для себя и об огромной власти над другими. Достаточная ли защита наших с вами прав предусмотрена, скажем, в законах о КГБ и МВД! Вопрос риторический, ибо она недостаточна хотя бы уже в силу пустой, ничем не подкрепленной декларативности и такой для этих органов вседозволенности, какая прежде, во всяком случае формально, не допускалась.

Знаете, куда можно обратиться в случае, если вы подверглись незаконному преследованию КГБ! — В тот же КГБ. В странах же, где выше закона только закон, люди обращаются в суд, где у гражданина есть больше шансов на объективное рассмотрение его жалобы. Короче, у нас закон новый — порядок старый, каким он был в 1917, 1937, 1977 году, каковым он будет и впредь. Тем более, что фактор всеохватной секретности практически превращает тот же КГБ в бесконтрольный и безнадзорный со стороны прокуратуры. В чуть меньшей степени мы остаемся беззащитными и перед МВД.

Чтобы не быть обвиненным в «нападках» на названные органы, замечу, что подобным же правовым эгоизмом заражены и другие ведомства, тоже сочиняющие для нас и для себя права и обязанности. Вчитайтесь в Воздушный кодекс, Устав железных дорог да и в новый закон о железных дорогах, и вы убедитесь, что в них наибольшая забота проявлена о ведомствах и наименьшая — о перевозимых и перевозимом.

А во что превращают закон так называемые подзаконные акты, которые правильнее было бы именовать надзаконными — настолько они искажают их, доводят до абсурда, до возможности действовать по принципу «левой ноги»! Сколько хороших законов, принятых властью законодательной, потеряли свою силу из-за корректировок и «порядка применения», придуманных властью исполнительной! Где еще такое возможно!

Может ли быть государство правовым при напрочь искаженном правосознании премьера и его министров!! В какой уважающей свою конституцию стране он додумается потребовать у парламента законодательных полномочий и депутатской неприкосновенности для себя и своих коллег! У нас это возможно, и, что весьма печально, он чуть не получил и то и другое в полном объеме. Лишь решительное и смелое вмешательство известного юриста помешало этому домогательству, хотя некую толику неположенных прав послушный и непрофессиональный Верховный Совет нашему новому премьеру все же предоставил.

Собственно, удивляться нечему. Наш парламент — Съезд и Верховный Совет СССР без всякого сопротивления делегировали Президенту столько полномочий, что у них самих уже мало их осталось. Впрочем, осталось право во всем соглашаться и толпиться у микрофонов с вопросами, на которые не дается ответов. Таковы правила игры, самочинно, явочным порядком установленные Председателем Верховного Совета СССР и подхваченные с успехом председателями обеих палат. Дошло до того, что адресованные должностным лицам депутатские запросы, вопреки регламенту, то есть закону парламентской деятельности, ставятся на голосование и, понятное дело, отклоняются. Зато дается ход невесть от кого полученной записке, никем предварительно не проверенной, в результате чего на всю страну с помощью услужливого Центрального телевидения шельмуется неугодный народный депутат.

Само ЦТ — ярчайший пример вопиющего беззакония. В какой еще стране по сути владельцем телекомпании мог стать человек, не вложивший в нее ни одной копейки и получивший ее в подарок от самого Президента! А ведь в создание ЦТ вложены народные деньги, деньги всех республик, и, если подсчитать, принимая во внимание численность населения и выплаченные им налоги,— больше, чем другие, вложила Россия.

И что же! Глава Верховного Совета РСФСР вынужден был выпрашивать у руководства ЦТ время для выступления перед своими избирателями! Ельцин не нравится Президенту, а это автоматически порождает нелюбовь к нему «телевладельца» Кравченко. И не мог Борис Николаевич сразу получить слова. Такое положение унижает не только и не столько его, сколько народы республики. Унижает беззаконием, форменным произволом. В цивилизованной стране в таком случае можно обратиться с иском в суд. У нас это невозможно. В цивилизованном, правовом государстве можно потребовать возмещения морального да и материального ущерба, поскольку предприятия и граждане страны немало теряют из-за того, что до них своевременно не доведены законы РСФСР. У нас это невозможно. В нормальной стране

можно было бы изъять из бюджета телекомпании ту часть взносов, которые делает республика. И пусть бы Кравченко и те, кто за ним стоит, поискали средства для латания «дыр». У нас и это невозможно... Таково реальное обеспечение республиканской власти в обновляемом Союзе.

Наконец, нормально ли, что всеми делами телекомпании заправляет один Кравченко, выведший неугодных сотрудников за штат, а заодно ликвидировавший и профсоюзную организацию! Законно! Нет! И где же наши зависимые и независимые профсоюзы, почему они не восстанут против нарушения прав работающего человека! Где их «приводные ремни»! Все к тем же партийным блокам ведут! А ведь они вроде тоже субподрядчики на стройке правового государства.

Не может быть правовым государство, Президент которого издает указы, противоречащие Конституции и другим законам, более того, не спешит отменять неправомочные указы, несмотря на то, что их признал таковыми Комитет конституционного надзора. В качестве примера можно назвать указ, лишивший Моссовет власти в пределах Садового кольца.

Можно ли говорить о правовом государстве, Президент которого в день референдума в весьма жесткой и неприемлемой форме агитирует против своего политического оппонента, что запрещено законом! И так поступает государственный деятель, юрист, присягавший на верность Конституции. Чего же ожидать от других — юристов и неюристов! Сообщили же «Известия» о постановлении Кизыл-Атрекского нарсуда Туркмении о наложении штрафа на члена Демократической партии России за распространение листовок, призывавших сказать «нет» на вопрос референдума о сохранении Союза. Все по закону произвола, освященного позицией районного прокурора. Вот если бы агитатор призывал голосовать «за», пояснил корреспонденту страж закона, ему бы сказали спасибо. А так — 300 рублей штрафа и вон из республики.

Коль уж зашла речь о прошедшем референдуме, хотел бы высказать одно свое, пусть запоздалое, сомнение. Кто может, пусть рассеет его. Как мне кажется, формулировка о Союзе была не только некорректна, о чем говорили многие, но и не вполне правомерна. По той причине, что согласно статье 4, пункт 4 Закона о референдуме, на него не выносился среди других вопрос «о границах Союза ССР». А между тем, по логике вещей, по внутреннему смыслу заданного народу вопроса речь в нем шла одновременно и о границах. Ведь сохранение или несохранение целостности Союза порождает и проблему границ.

Нелишне вспомнить в связи с обсуждаемой проблемой и историю с государственно-кооперативным концерном АНТ. Как лихо начинали это дело славные чекисты, сколько телевизионных и газетных интервью дали, как здорово информировали нас о каждом этапе следствия. И вдруг — тишина. Зато вовремя была проведена компрометирующая операция, измазаны дегтем сами кооперативная идея и экономические связи с Западом, выглядит победителем и героем — защитником социализма Полозков.

И вот уже новое «дело века» — о российских 140 миллиардах. Следует очередной взлет досудебных обвинений, интервью, информаций. Ответственный работник Прокуратуры СССР Калиниченко и его начальник сообщают 24 марта сего года миллионам телезрителей о ходе следствия и преподносят некоторые намекающие подробности. И уже 140 миллиардов фигурируют, а целых 500! Правда, интересно было бы сверить с возможностями российского, даже союзного бюджета, располагают ли правительства России и Союза такими суммами. Но следователям не до этого. Они по чьему-то указанию творят не правосудие, а политику, им нет дела ни до презумпции невиновности, ни до самой Конституции, согласно которой только суд вправе признать кого бы то ни было виновным. Главное — бросить тень на Ельцина, Силаева, других руководителей РСФСР, причем, что называется, вовремя — перед внеочередным Съездом народных депутатов России. Цель оправдывает средства — вечное правило большевизма применительно к уголовной юстиции.

Ну а как все-таки с АНТом! Не на корзину ли сработали прокуроры и чекисты! «Возможно,— меланхолически вещает товарищ Калиниченко,— бывают же ошибки, отдельные недостатки». Однако кто ответит за оговор людей в деле об АНТе, за позор и унижение их чести и достоинства! Кто ответит за миллионные суммы упущенной выгоды и понесенного государством ущерба! Кто ответит за то, что из-за этих политических игр народ остался без товаров и продуктов, которые были бы доставлены в страну, не подсуетись Полозков и с его подачи — чекисты! Не слишком ли дорогая цена за желание и дальше править нами!

Говоря о новом «деле», товарищи Сбоев и Калиниченко из Прокуратуры Союза намекали на ненадежность иностранного партнера России, на то, что его чуть ли не разыскивают как преступника по всему миру. Но как тут не вспомнить выступления представителя КГБ, который уверял нас, что его ведомство занимается, помимо всего прочего, еще и защитой экономических интересов страны от возможного посягательства на них извне. И где же тогда были наши бдительные органы, когда тот господин нехороший десятки раз шастал через закрытые на вечные замки границы державы! Почему проспали, когда он заимел шикарный офис в столице! Получается, прозевали, не пресекли происки «матерых акул империализма»! Что ж, такое может случиться. Однако в подобных случаях руководитель «фирмы», подчиненные которого дали маху, стыдливо просится в отставку. Такого заявления от главы КГБ, похоже, сделано не было...

Зато известна газетная информация о господине, ныне объявленном соучастнике многомиллиардной сделки. Он, оказывается, содействовал в свое время переброске в нашу страну кое-какой новейшей электронной техники, чем нарушил установленный на Западе запрет продавать СССР такую продукцию. Возможно, за это его там и разыскивают! Но в таком разе негоже было «закладывать» столь замечательного партнера, не по-джентльменски это. Или он по просьбе КГБ согласился выполнить еще и другую роль — «подсадной утки» под Фильшина!

И еще. Могут ли прокуроры объяснить свой подход к гласности следствия! Почему она столь безбрежна по упомянутым мною делам, но совершенно не слышна была при расследовании бойни в Тбилиси! Что-то никто не садился перед телекамерами, чтобы информировать население о том, как продвигается расследование, какие показания дают бывшие руководители Грузии и командиры родов войск, принимавших участие в операции и планировавших ее. А теперь внезапно выяснилось, что есть убитые, есть раненые, но нет виновных. Вернее, виновны сами пострадавшие, да и уцелевшие: незачем было митинговать. Лучше больше трех не собираться. Это и есть верный признак правового государства.

Не защищая многих своих граждан от произвола, прокуратура выполняет эту функцию избирательно. Усмотрела, например, покушение

на честь и достоинство Президента в прогнозе народного депутата РСФСР Тарасова насчет спорных территорий на Дальнем Востоке. И хотя тот уже трижды просил извинения у Президента, недавно назначенный вместо Сухарева Генеральный прокурор Трубин продолжил традиции своего предшественника. Ему очень хотелось посадить депутата на скамью подсудимых, создать прецедент, и он упорно добивался лишения его депутатской неприкосновенности, отчего имел на российском съезде весьма бледный вид. В то же время товарищ Трубин не увидел оскорбления Президента в телевизионном эссе знаменитого ленинградского борца с мафией и сепаратизмом, который почти открытым текстом назвал Президента, а за компанию и Ельцина, предателями. Спрашивается, почему! Не потому ли, что тележурналист — «наш», и ему дозволено то, что не дозволено «не нашим»!

Ладно, не «защитили» Президента... Плохо, конечно, но это компенсировалось защитой Горячевой и вместе с ней еще 29 депутатов, которые просили оградить их от их же митингующих избирателей. Они были услышаны всеми — от Президента и премьера до женщин из города Иванова. Первые, вопреки закону, запретили в Москве всякие митинги до 15 апреля (очевидно, к этому сроку намечалось сместить Ельцина), а ивановские дамы бабахнули наверх и, естественно, на телевидение небольшой манифест с протестом. Нельзя, твердили и руководители, и трудящиеся из города ткачей и ткачих, оказывать давление на депутатов. Не положено. А, собственно, почему, по какому закону! Или избранники народа уже не должны считаться с мнением их избравших! Где, в каком законе, в какой статье, параграфе это записано! Мы же строители правового государства и должны придерживаться правил строительства. Хотя бы частично, до ввода «объекта» в строй.

Не надо, однако, думать, что юридическая самодеятельность и вообще беззаконие исходят только сверху. Ни в коем случае! Верхи служат только заразительным примером. На уровне колхоза, сельсовета, района, города, области есть и свои законотворцы, и свои могущественные управленцы, и подчиняющиеся только им «органы». Всем им наплевать на законы, если они противоречат их интересам, в том числе и партийным. Они ни за что не хотят расстаться с абсолютной властью — вообще, и над людьми, в частности. И тоже неплохо владеют дышлом, справно поворачивая его в нужную сторону.

И самое главное. Речь о незыблемом принципе правового государства — разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых абсолютно независима от остальных. У нас пока из-за бесконечного распределения и перераспределения полномочий между законодательной и исполнительной властями трудно сказать, где начинается одна и где кончается другая. О том, как они охотно передаются друг другу, и о подзаконных актах, зачастую перечеркивающих сами законы, здесь уже говорилось.

Что касается власти судебной, то сила ее в основном сводится к силе приговоров и решений. Подлинной независимости она так и не обрела. Ею по-прежнему командуют и по телефону, и непосредственно. И без особых маскировок: печать полна информации на этот счет. Уже не только партийные комитеты, но и депутаты перестроечного раскроя вмешиваются в судебную деятельность, жмут на судей методами, лишь отдельными нюансами отличающимися от прежних.

Как и ранее, не в чести принципиальные и независимые судьи. Не случайно до сих пор не укомплектованы десятки и сотни судов в разных городах и республиках, в том числе и в Москве. И не только

потому, что Советы очень уж разборчивы при их назначении, но и потому, что они «не сходятся характерами» с вероятными кандидатами на судебные должности.

Ну а поскольку не существует независимая судебная власть, не существуют и независимые правоохранительные органы. Все они «чутко» к кому-нибудь прислушиваются. Да о чем говорить, если сам Президент может запросто в речи ли, в документе ли давать поручения Генеральному прокурору, которому тот по закону не подчинен и не подотчетен. Просто сказываются старые привычки, когда государственные мужи считали себя выше закона и вполне искренне полагали, что он на них не распространяется.

Ну а что же главное действующее лицо — народ! Он, как водится, безмолвствует (впрочем, уже не всегда и не везде). И нет его вины в том. Нас веками и десятилетиями, при всех режимах приучали к юридическому невежеству, правовому бескультурью, к покорности и униженности. Нас приучали отстаивать свои честь, достоинство и гражданские права не через суд, а обращаясь к милости власть имущих. Нам вообще внушили, что суд — это нечто стыдное, позорное, пятнающее нас. Поэтому даже обыкновенные имущественные права мы предпочитаем отстаивать не в судебном порядке, а начинаем писать челобитные в ЦК, ЧК, милицию. И сами себя загоняем в замкнутый круг произвола и бесправия. До такого вот уровня правосознания доведен народ. Он, этот уровень, превратил нас в угнетенных, обездоленных и озлобленных людей, отчего и предпочитаем мы палку, но чтобы били не только по нам, но и по нашему ближнему. Вот почему так ласкает наш слух слово «порядок», отнюдь не равнозначное слову «законность», а означающее скорее обыкновенное принуждение жить так, как велено начальством. Вот почему мы так легко соглашаемся с тем, что кто-то наверху лучше знает наши кровные интересы, нежели мы сами, что он стоит над законом, а значит, и над нами.

В правовом государстве не должно и не может так быть, ибо в нем и гражданин, и глава государства одинаково равны перед законом и одинаково обязаны ему подчиняться. Вспомните, как маленький, не Генеральный даже прокурор, а всего лишь окружной возбудил «уотергейтское дело» против президента США Никсона, как простой, хотя и специальный следователь, вопреки сильнейшему нажиму из Белого дома, довел его до конца; пришлось президенту уйти. И вспомните, какие трудности пришлось преодолеть нашим следователям, причем по рангу более высоким, нежели американские, чтобы довести до суда дела взяточников — членов ЦК. И потребовалось на то не юридическое решение, а согласие высших партийных органов и высших партийных руководителей. Кстати, обратно к этому «порядку» и зовут нас «железные» коммунисты вроде товарищей Полозкова и Андреевой.

Я не привел и десятой доли причин, по которым не верю в пришествие в скором времени правового государства — СССР. Жизнь ежедневно подкидывает нам десятки, сотни примеров произвола и беззакония, не вчерашнего — сегодняшнего.

Может быть, мы поднимем экономику, может быть, станем лучше жить, питаться, одеваться, отдыхать, легче и свободнее дышать. Но еще не скоро Конституция и Закон станут тем единственным богом, верить и подчиняться которому будет каждый гражданин, независимо от должности, происхождения, национальности, религии, партийного и общественного положения и других знакомых нам примет, для настоящего правового государства не имеющих ровно никакого значения. Только тогда будет завершено строительство того, под что мы заложили только один камень, а не фундамент.

Вячеслав Басков

ГДЕ — ВСЁ?
или
СТРАНА НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД

Социализм тает на глазах. Мы так долго при социализме жили, так привыкли его ругать, но теперь не осталось и того, что было. Ах, неужели то был лишь дивный сон?..

ГОРОД

Раньше

Москва была чистым, зеленым городом. По части зелени — одним из самых зеленых в Европе. Летом на газонах писали: «По газонам не ходить! Штраф 100 рублей!» Зелень называли «легкими города» — наконец, это всем так надоело, что табличка вошла в анекдоты.

Ныне

На наших глазах город засыпает археологическая грязь. Дворников нет никогда. Дороги и тротуары от снега и дождя осушает Великое Солнце. Из-за того, что один слой асфальта кладут на другой, город врастает в землю. Зимой на тротуарах гибнут люди. Зелени почти не осталось: общественность борется за каждое дерево, создаются комитеты. Москва — это город-помойка.

На Западе

Париж, Лондон, Вашингтон, Бонн утопают в зелени. Всюду газоны с немнущейся травкой и парки. Зимой на дорогах и тротуарах так же сухо и чисто, как летом. Летом тротуар моют душистым шампунем.

ДОМ

Раньше

Если бы не низкая квартплата, никто никогда бы не осмелился сказать, что в СССР построен социализм. Это основной признак социализма.

Ныне

Квартплату норовят увеличить в несколько раз. Идут оживленные дискуссии, бередящие сердце, о так называемой приватизации, о выкупе квартир... Миллионам людей грозит если не выселение на улицу, то мучительное переселение и душевные переживания.

На Западе

Главная беда — бездомные. Важнейшая задача, стоящая перед общественными и благотворительными организациями — приучить алкоголиков, бродяг, наркоманов жить в квартире.

МЕДИЦИНА

Раньше

То, что врач должен лечить бесплатно, считалось аксиомой. При социализме жизнь человека не имеет цены: был такой лозунг. Врачи почитали за особую честь лечить взрослых и детей. Поступить в мединститут было почти нереально: каждый мечтал стать врачом.

Ныне

Теория бесплатной медицины осуждена беспощадно. «Лечиться даром — даром лечиться»,— говорят. Медпомощь должна быть не просто платной, она должна быть дорогой. Систему недоступной медицины разрабатывает сам Минздрав СССР. Среди врачей появились люди, которые неважно знают анатомию. Среди них есть хронические алкоголики — постояльцы вытрезвителя.

На Западе

Система оказания медицинской помощи прежде всего гуманна. Помощь оказывается всякому — есть у больного деньги или нет. Помимо частных клиник, есть государственное здравоохранение. Есть страны, где здравоохранение бесплатное на сто процентов: то есть и лечение в частной клинике вам ничего не стоит. Само понятие «платной медицины» — не практическое, а экономическое: не пациент платит врачу, а фирма или социальное учреждение оплачивает труд врача. Из зарплаты каждого работающего производят отчисления на медпомощь. Впрочем, это только одна из многих систем медпомощи.

ОБРАЗОВАНИЕ

Раньше

Главным «завоеванием социализма» считалось бесплатное обучение детей. Особо бедным детям школа выдавала обувь, форму, учебники.

Ныне

С первого дня с родителей первоклассников начинаются поборы. Это настоящее платное обучение. Учителя в музыкальных школах — те так просто без денег не работают. А попасть в спецшколу дано отнюдь не каждому ребенку: только избранным. Теперь появились «гимназии» — еще одна разновидность спецшколы, школы «для белых». Что же касается вузов, то высшее образование получают исключительно избранные.

На Западе

Система образования ничем не похожа на нашу. Даже трудно сравнивать. Нет человека, который бы затруднился дать своему ребенку образование. Причем уровень его нисколько не зависит от того, в какой школе учится ребенок — в частной или государственной. Во всяком случае любой молодой человек вправе поступить в высшее учебное заведение. Прийти, записаться в него и ходить слушать лекции.

А еще признаками социализма считались бесплатная доставка газет и журналов на дом; бесперебойная работа городского общественного транспорта и его доступность каждому человеку, получающему самую низкую зарплату; оперативная работа «скорой», милиции, пожарной; дешевизна товаров, начиная с хлеба и товаров для детей, кончая обувью, пальто для взрослых — на наших глазах ничего этого не осталось, и что дальше будет, прямо не знаю. Не иначе — конец света... У нашего социализма меньше признаков социализма, чем тех же признаков в странах, до социализма не доживших...

Одна пенсионерка — стройная, энергичная женщина, вся во власти представлений своей трудной, но прекрасной юности,— возмущалась: «У меня засорилась раковина. По-че-му ко мне не идет слесарь? Ведь он за это деньги получает!»

Наш социализм воспитал несколько поколений людей, непомерно

требовательных друг к другу. «Будьте взаимотребовательны!» — учили нас. Даже в общественных уборных висело объявление: «Требуйте салфетку!» Та пенсионерка, как и миллионы советских людей, которые точно так же возмущаются безобразным поведением слесаря, прекрасно знает, что слесарю на нее наплевать, ему наплевать на всех. Но миллионы людей не понимают, что значит наплевать. Они верят, что слесаря можно заставить почистить раковину: он же деньги за это получает! Надо только доказать ему, что он неправ, или обратиться выше, тогда его заставят...

Миллионы людей терпят не только безнравственную работу слесаря, но и скверную работу железной дороги, поликлиники, магазина, ателье. Стоит только машинистов и врачей, портных и продавцов заставить работать, как наступит социализм. Терпят даже плохую работу правительства! Кстати, по-моему, частые митинги многие люди воспринимают как способ принуждения правительства работать хорошо. Идея принудительного труда овладела массами давно. Социализм и обязательный труд — две вещи неразделимые.

Не знаю, существует ли такой термин — «государственный социализм». Знаю только, что то, что у нас было когда-то давно и что теперь — это все государственный социализм. Он, в сущности, построен на одном принципе: когда каждый человек будет работать и что-то создавать, тогда в обществе наступит полное изобилие. Теоретически это неоспоримо: одно дело, когда работает один человек,— и совсем другое, когда работают двое. Тогда булочек появляется за смену не тридцать, а шестьдесят. И так — во всем.

Вот эта обязанность работать, которая висит над каждым человеком, мне кажется, погубила идею социализма, то есть создание беззаботного социума — среды обитания человека. Нам так объясняли когда-то в школе: когда вследствие работы всех наступит полное изобилие, тогда, чтобы больше не работать, люди создадут роботов, которые будут работать вместо них. А человек станет весь свой день, всю свою жизнь наслаждаться культпоходами, рисовать, ходить в театр, читать книги... В «Капитале» у Маркса так и написано: а что если представить такое общество, в котором все члены работают и произведенный продукт делят между собой поровну? Так и написано, правда! Сам он не работал,— но он представил себе такое общество. О, это его право. Вот один человек представил себе, что если в подвалы всех домов в Москве налить керосину, то комаров не будет. Дело в том, что комары не любят керосина. Когда эта идея овладеет массами, то, думается, Москва вскоре сгорит от неосторожно брошенной первым прохожим спички.

Так вот, мы добились того, что у нас работает каждый. Больше того, у нас есть закон, запрещающий не работать. Но где же всё? Есть земля, содержимое недр, есть много людей трудоспособного возраста, построены огромные заводы, комбинаты, фабрики,— но где же всё?

Я думаю, что светлую идею о всеобщем изобилии погубила мысль о необходимости работать. Каждому человеку надо дать то, на чем он работает. Был когда-то в стране, скажем, миллион токарей — жены токарей сидели дома. А теперь токарями вынуждены стать и жены: нужно уже два миллиона токарных станков. Не всякое же место работы столь примитивно, как стол кондитера.

Когда человек обязан работать, то он работает кем угодно. Следовательно — как угодно. Лишь бы числиться на работе. А потом, у человека бывает склонность к какой-то работе. Он хочет стать, скажем,

токарем, но к тому времени, когда он родился, еще не создали такого количества станков, чтобы ему достался хоть один свободный. И он идет во врачи.

Есть масса людей со склонностями к так называемому «непроизводительному труду»: такие пишут романы, разные другие книги, хотят быть учителями, воспитателями, редакторами, артистами, художниками, изучать языки... Их не тянет печь булочки. Их, простите, вообще не волнует, как булочки делаются: они их привыкли только есть. Конечно, это отвратительно! Совесть человечества, Лев Толстой замучился сознанием своего иждивенчества. Он пытался даже косить — дать человечеству хоть клок сена. Ходит легенда о том, что он изнурял себя скромным питанием: пил на завтрак всего стакан миндального молока и заедал его куском хлеба. Известие, что для того, чтобы надавить этот стакан, работали две деревни, добило его. Идея о всеобщем, обязательном и непременно производительном труде тем убедительней!

А потом: человеку, как любому живому существу, присуще САМОЧУВСТВИЕ. Теория о всеобщем производительном труде этого не учитывает. Не всегда же у человека хорошее самочувствие, правда? А если еще учесть, что среди людей бывает всего два вида живых существ — мужчина и женщина, то выбора просто не остается. А что такое женщина? Это организм, внутренности которого открыты всем ветрам. Раз в месяц женщина истекает кровью. Это продолжается несколько дней! Дать выходные? И еще общие выходные? Нереально. Текущие кровью женщины скрывают это. В эти дни они стоят у станка, сидят за рулем троллейбуса, кладут асфальт... Считается, что говорить о менструациях вслух неприлично. Это стыдно. У советской женщины нет менструаций. Советская женщина — мужчина. Она — ученый, комбайнер, доярка, ткачиха, повариха... Иногда советская женщина оставляет кровавые следы на сиденье в метро, на стуле — она ехала на работу, она сидела на работе. Но говорить об этом неприлично! Она обязана работать. Обязана. Кормить ее никто не будет. Государство, во всяком случае, не собирается содержать собственных женщин. Если какому-нибудь мужу угодно, пусть работает один. Но платят ему зарплату тоже на одного. Не боясь красивых слов, можно сказать, что советская женщина — кровоточащая рана советского общества.

Но мужчина — существо вряд ли более сильное. Век советского мужчины короче, чем у женщины. Обязанность работать сказывается на нем сильнее, чем на женщине. Он — хронический больной. Но весь ужас его положения в обществе заключается в том, что все законы — против него. Женщинам еще делают поблажки. Мужчина не знает, что такое поблажка. Кроме того, что мужчина ОБЯЗАН работать, а если он не работает, то его могут посадить в тюрьму (женщине разрешено находиться «на иждивении» родителей, или мужа, или брата), он работает в очень плохих условиях. При том, что мужчина работает по обязанности, государство сняло с себя обязанность оборудовать его рабочее место. На заводе, в НИИ, в театре — повсюду мужчина не работает, а загибается. Я уже не говорю об обязательной службе в армии, которая отнюдь не закаляет мужчину, а отнимает силы, которые у него только и бывают, что смолоду, потому что ко времени призыва он еще нигде не загибался,— призыв специально приурочен к тому часу, когда мужчина закончит школу. Получил аттестат зрелости — через неделю на призывной пункт! Отказался от армии — тюрьма. Уже доводилось писать, что не все мужчины, хоть они и мужчины, испытывают тягу к технике: мужчины бывают композиторами, учеными, писателями, а армия —

чисто технический институт. Его же зачем-то представляют неким спортивно-оздоровительным лагерем, где мужчина якобы закаляется. В армии мужчину приучают скрывать свои недуги, то есть преодолевать собственную природу и не слушать свой организм. Он на всю жизнь отучается от самого себя. Доводилось писать и о том, что советское гуманное здравоохранение не выдавало мужчинам больничных листов — ни для их собственного выздоровления, ни для ухода за собственными детьми. Всякое недомогание мужчины врачам было предписано квалифицировать как последствие вчерашней выпивки. Думаю, что в этом вопросе ничего не изменилось. Если я ошибаюсь, пусть мужчины меня поправят.

Но обязанность работать не только не учитывает естественных человеческих склонностей, попросту игнорирует их, она заставила миллионы людей ступить на путь притворства, обмана. Я имею в виду ситуацию, когда человек делает вид, что он хорошо работает. Создать такую иллюзию, оказывается, очень просто: например, нужно громко выступать на собраниях. Ну и все прочее из этого поганого разряда «общественной» работы. Вызван этот обман инстинктом самосохранения: должен же человек на что-то жить. Но последствия этот обман имеет поистине страшные: эти люди в порывах фальшивого общественного восторга не дают работать тем, для кого данная работа — призвание и смысл всей их жизни. Лозунговая трескотня по поводу того, как н а д о работать и что из этого д о л ж н о получиться, всегда прекраснее того, что работник просто делает. Контраст между словами и результатами труда бывает так велик, что работник постоянно находится в состоянии отчаяния, что у него ничего не получается. Отчаяние становится его САМОЧУВСТВИЕМ. Он бывает рад уйти на другую работу, но так как там оказывается ничуть не лучше, чем везде, и общественная работа кипит в той же степени, то прекрасные работники бывают по-настоящему счастливы, лишь уходя на пенсию. Если до нее доживают.

Глупость идеи обязательного труда проявилась при первой же реформе: когда некоторым предприятиям было разрешено перейти на самофинансирование. Тут оказалось, что за семьдесят лет страна, заставившая работать каждого человека, к миллиону токарных станков второго миллиона так и не прибавила. Предприятие, перешедшее на самофинансирование, стало довольствоваться таким количеством продукта, который бы окупил его собственные затраты и улучшил положение собственных рабочих. И из магазинов исчезли товары. Выпускать больше товаров предприятию стало просто не нужно. И не оказалось второго, однотипного предприятия, которое бы, точно так же обеспечивая лишь себя, все-таки пополняло рынок товарами! Выпускала обувная фабрика по плану («План — закон!») миллион пар обуви в год — без плана 500 тысяч (удвоив цену каждой пары), и вполне «самофинансировалась». А другой обувной фабрики — нет. Не построили за семьдесят лет! Как можно было переходить на самофинансирование, не построив там, где был один сыродельный завод, еще пять?! Ведь в самом термине «с а м о ф и н а н с и р о в а н и е» заложена гибель любой отрасли. А люди с удивлением спрашивают: «Где всё?» Да его и быть не может после первой же реформы.

В обществе, где мало предприятий одного профиля, но выстроены гиганты, особую роль начинают играть деньги. Эту роль издавна называли взяткой. Стоит в городе N под Москвой гигантский полиграфический комбинат. Книги он печатает го-да-ми. Он еще печатает журналы.

Дашь дирекции больше денег — пролезешь без очереди, напечатают быстрее. А если бы вместо одного комбината было много-много типографий, то у издателя был бы выбор. И никого бы не удивляло, почему государственные издательства распускают, а на столиках по всему городу лежат горы интереснейших книг: их отпечатали без очереди, понимаете?

Но если бы и все можно было изготовить без очереди, за взятку! Сыр, колбасу, вермишель — весь этот лютый дефицит без очереди выпустить невозможно: специфика такого рода предприятий не позволяет.

А в Западной Европе, США к идее обязательного труда всегда относились с отвращением. Там царствуют ЖЕЛАНИЯ. Государство же играет роль исполнителя желаний. Любой человек следует своей склонности — ведь тем лучше он работает, это так просто. Один человек, любящий свою профессию, создаст больше, чем десять вынужденных работать и ненавидящих свое дело. И никто там никому не предъявляет претензий: ах, ты слесарь, так изволь прочищать раковину! Слесарем работает человек, который этого хочет. И нет там психологии иждивенчества: раз я родилась, то меня должны обслуживать — «они» за это деньги получают! Деньги там зарабатывают — в этом смысле все на равных. Консьержка моет тротуар перед домом душистым шампунем не потому, что ей так велели, а потому, что ей так хочется. А те, кто выпускает шампунь, знают, что им моют тротуар, и, представьте, не прекратили выпуск шампуня! У нас же дефицит соды и зубного порошка вызван тем, что производители возмущены: «Вы знаете, что «они» делают с содой и порошком? Они им ложки и вилки чистят!» — с гневом говорили мне в Минлегпроме. «Да вам-то что за дело? — не понимал я.— Выпускайте их — и все!» На меня смотрели как на врага народа. Неужели я не понимаю, что речь идет о стратегическом сырье: о зубном порошке! Начнется война — где тогда взять мел, если им сейчас до блеска начищают вилки? Зубным порошком н а д о чистить зубы. На это отпущено столько-то мела. И ни на что другое. Войдет зубной порошок в дефицит — перестанут чистить вилки... У нас не принято исполнять желаний. Принято, так сказать, выслеживать их и вовремя пресекать. А там, в странах Запада, человек может даже учиться по желанию! Понятия конкурса при поступлении в вуз не существует. Чтобы поступить в Сорбонну, нужно прийти и записаться, уплатить за год вперед 60 франков (все это можно сделать и по почте). Можете учиться хоть всю жизнь: приходите, сдавайте экзамены. У нас же все сделано для того, чтобы человек не получил диплома: если хорошо идет по специальности, то завалят на истории партии или на физкультуре. СССР — страна несбывшихся желаний.

Принудительный труд — высшее достижение социализма. «Не так живи, как хочется!» — говорили мне всю мою жизнь разные люди разными интонациями: одни — сокрушаясь, другие — злорадно. Но ЗАЧЕМ жить не так, как хочется? Разве социализм — это только первая жизнь человека, за которой последует вторая? Разве Маркс говорил, что всеобщее счастье нужно строить на костях людей, призванных к обязательному труду? Где написано, что социализм можно построить в стране с закрытыми границами? А если границу открыть, то уже построить социализм будет нельзя? Вообще социализм — это там, где есть всё, или где, наоборот, нет ничего?

Ольга Седакова

ЛОДКА ЗОЛОТАЯ

Из книги «Дикий шиповник» (1976—1978)

КОТ, БАБОЧКА, СВЕЧА

Chat seraphoque chat étrange.
Ch. Baudelaire

1

Из подозренья, бормотанья,
из замиранья на лету
я слабое повествованье
зажгу, как свечку на свету:
пусть дух, вернувшийся из чащи,
полуглядящий, полуспящий
свернется на ковре, как кот:
кот серафический, молчащий —
и малахит его редчайший
по мне событья узнает.

2

Глядит волнующая сила —
вода, не сдавшаяся нам.
Она когда-то выходила
навстречу первым кораблям,
она круг Арго холодела,
как смерть сама,— но им глядела,
и вещие его бока
то разжимала, то сжимала,
как музыка свое начало,
как радужка вокруг зрачка.

3

И мы пойдем, как заклинанье,
в кошачье зрение, в нигде,
в тень, отразившую сиянье,
в сиянье тени на воде:
душа венчает поколенья,
как сон, враждебный пробужденью,
венчает бодрствующий день,—
и зеркальце летит над нами,
держа в волшебной амальгаме
лица невиданного тень.

4

Как если бабочка ночная
влетит — и время повернет,
и, что-то отражать скучая,
то вычеркнет, то отчеркнет —
вас не тянуло обернуться,
расплескивая жизнь из блюдца,
туда, где все произошло? —
где облика немая сцена
неповторимо неизменно
глядит в нарциссово стекло.

5

Но, быть застигнутым рискуя,
он мириады подыскал
порхающих почти вплотную
увеличительных зеркал.
Когда крупица отраженья
внушит ребенку подозренье
о том, что зрительнее глаз,—
скорей, чем мы отдернем руку,
в малине увидав гадюку,
он от себя отдернет нас.

6

Но горе! наполняясь тенью,
любя без памяти, шагнуть —
и зренье оторвать от зренья,
и свет от света отвернуть! —
и вещество существованья
опять без центра и названья
рассыпалось среди других,
как пыль, пронзенная сознаньем
и бесконечным состраданьем
и окликанием живых...

7

Свеча бесценная, кошачья!
Ты наполняешь этот дом,
с которым память ходит, плача,
как сумасшедший с фонарем.
Душа, венчая поколенья,—
не сон, враждебный пробужденью,
а только в сон свободный шаг.
И ты сияешь ночью дачной
в среде, для сердца непрозрачной,
в саду высоком, как чердак.

8

И ты сияешь за пределом
той темноты, где я живу,—
чтоб темнота похорошела
и сон увидел наяву
сиянье трезвое, густое,
сиянье бденья золотое
и помнящее про него —
как будто вся душа припала
к земле, с которой исчезало
любимейшее существо...

ПРОЩАНИЕ

Мне снилось, как будто настало прощанье
и встало над нашей смущенной водой.
И зренье мешалось, как увещеванье —
про бо́льшие беды над меньшей бедой,
про то, что прощанье — еще очертанье,
откуда-то ве́домый очерк пустой.

Но тут, как кольцо из гадательной чаши,
свой облик достало из жизни молчащей

и плача, смущая и глядя в нее,
стояло оно, как желанье мое.

Так зверю больному с окраин творенья,
из складок, в которые мы не глядим,
встряхнут и расправят живое виденье,
и детство второе нагнется над ним,
чтоб он не заметив простился с мученьем,
последним и первым желаньем учим.

И он темноту, словно шерсть, разгребает
и слышит, как только к соску припадает,

кормилицы новой сухие бока
и страшную сладость ее молока.

Я тоже из тех, кому больше не надо,
и буду стоять, пропадая из глаз,
стеклянной террасой из темного сада
любуясь, как дождь, обливающий нас,
как полная сердца живая ограда
у стекол, пока еще свет не погас.

Ограда прощания и поминанья,
целебная ткань, облепившая знанье.

И кто-то кивает, к окну подойдя,
лицу сновиденья, смущенья, дождя.

ПЕНИЕ

Заре Александровне Долухановой

Если воздух внести на руках, как ребенка грудного,
в зацветающий куст, к недающимся розам, к сурово
отвечающим веткам —
клянусь, мы увидеть должны
этот голос порфирный, глубокую кровь тишины.
Этот свет, принимающий схиму, и в образе ветхом
оживляющий кровь, и живущий по гибнущим веткам
горных роз, выбегающих из-за камней,
и, как к горю, привычных к свободе своей.

Что, не снится ли нам эта тьма, этот куст остролистый,
разговоры огня над паденьем реки каменистой...

— Так быстры мои воды, что ты не найдешь отраженья,
сколько в них не гляди: даже тьмы драгоценной растенье
в них не кажется тьмой — об одном она только и стонет:
Кто же, кто нас поднимет, когда нас и небо уронит?
Кто безумного счастья, бессмертного счастья угрозу —
кто же кровь остановит ребенку, сорвавшему розу? —
Кто пораненный воздух губами целебными ловит? —
так быстры эти воды,
что никто его не остановит...

Так быстры эти воды, что свет в них не кажется светом,
и кружится дыханье, и мы забываем об этом,
и еще повторяем,
минуя воздушные арки,
разговоры огня
над рекой, уносящей подарки.

ВОДА-КРЕСТЬЯНКА

Бабушке

Ты гулюшки над старой люлькой
где дети няньчили детей
яйцо с наклеванной скорлупкой
и дух и голубь их ночей

Голубка запертая крепко
холопка мельничихи злой —
но к веткам ты подвяжешь клетку
и кормишь хлебом и крупой

По небу голуби летают
ребенок спит и дом растет
и вся как лодка золотая
к нам госпожа вода плывет.

«Я ВОЗВРАЩАЮ СЕБЕ СВОБОДУ»

Имя Игнатия Рейсса (Игнатия Станиславовича Порецкого), резидента советской разведки в Европе, публично порвавшего в 1937 году со сталинским режимом, почти неизвестно читателю. Оно лишь недавно стало появляться на страницах наших изданий, да и то в связи с тем, что в организации его убийства деятельное участие принимал муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, выполнявший во Франции задания НКВД.

Письмо Рейсса, переданное им в июле 1937 года в советское посольство в Париже, и стоившее ему вскоре жизни, было написано за два года до знаменитого письма Ф. Раскольникова. Письмо Рейсса заслуживает того, чтобы оно тоже стало известным. Ничто лучше документов не может дать достоверное представление о том времени.

Поэтому ниже мы публикуем это письмо, отрывок из некролога, напечатанного тогда же в Бюллетене оппозиции, и страницы из книги Эльзы Порецкой, свидетельствующей об обстоятельствах убийства ее мужа.

ИГНАТИЙ РЕЙСС*

Игнатий Рейсс родился 1 января 1899 года в мелкобуржуазной еврейской семье в Польше. Еще на гимназической скамье он примкнул к революционному движению, которое захватило его целиком, когда он учился на юридическом факультете Венского университета. Будучи членом австрийской КП, И. Рейсс в 1920 г. посылается на нелегальную работу в Польшу. Вскоре последовал арест, пытки и приговор к пяти годам тюрьмы. Но через полгода тов. Рейссу удалось (под залог) снова получить свободу. Совсем молодым, в героическую эпоху русской революции, Рейсс вступает в непосредственную связь с Москвой, по заданиям которой он с того времени работает: в 1923 — 1926 гг.— нелегально в Германии (в Рурской области); вернувшись в Вену и проведя там некоторое время в тюрьме, он в 1927 г. едет в Москву и становится членом ВКП. Ближайшие годы проходят на нелегальной работе в разных странах Центральной и Восточной Европы; в 1929 — 1932 гг.— в центральном аппарате в Москве, затем снова за границей.

Тов. Рейсс верил или старался верить, что служит делу рабочего класса, а не сталинской клике. Но сомнения мучили его все больше. В 1936 — 1937 гг. ускорившееся разложение сталинщины, и в частности, московские процессы, глубоко потрясшие Рейсса, толкнули его к выводу, что нужно резко и навсегда порвать со сталинской кликой. Большое моральное и личное мужество требовалось, чтоб вычеркнуть из жизни многие годы самоотверженной работы, чтоб пойти на разрыв со Сталиным — Ежовым. Игнатий Рейсс лучше, чем кто бы то ни было, знал, что ему грозит. Но решение его было непреложно.

* Фрагмент некролога. Печатается по Бюллетеню оппозиции, 1937, № 58—59, с. 21—22.

Связавшись весной этого года со сторонниками Четвертого Интернационала, И. Рейсс прежде всего предупредил их о том, что в Москве принято решение любыми средствами «ликвидировать» заграничных троцкистов и антисталинских коммунистов.

В июле 1937 г. тов. И. Рейсс посылает.— под псевдонимом Людвиг — письмо в ЦК ВКП о разрыве со Сталиным и покидает тот весьма ответственный пост, который он занимал. В ответ на это заявление будущие убийцы тов. Рейсса рассылают полициям европейских стран анонимный и обстоятельный донос на покойного, изображая его уголовным преступником...

Порвав со своим прошлым, И. Рейсс строит планы на будущее, планы революционной и литературной работы в рядах Четвертого Интернационала. Он надеется завоевать и некоторых из своих бывших товарищей. С этой целью он встречается 4 сентября в Лозанне с некоей Гертрудой Шильдбах (урожденной Нейгебауер), сотрудницей ГПУ, работавшей в последнее время в Италии. Близко зная ее в течение 20 лет, И. Рейсс относится к ней с полным доверием. На свидании, происходящем в присутствии жены тов. Рейсса, Г. Шильдбах говорит о том, что она якобы также хочет порвать со сталинщиной. Собеседники обсуждают планы на будущее, тов. Рейсс советует Шильдбах присоединиться к Четвертому Интернационалу. Вечером Шильдбах приглашает тов. Рейсса поужинать с ней в окрестностях Лозанны. При выходе из ресторана к ним подъезжает машина; Рейсс оглушен ударом кистеня, втащен в автомобиль и убит. В теле покойного найдено было семь пуль. Пять из них попало в голову. И. Рейсс жестоко отбивался. В его сжатой руке найден был клок волос предавшей и продавшей его Шильдбах... Бросив окровавленную машину в Женеве, физические убийцы,— их было по данным швейцарской полиции по меньшей мере пять человек,— выехали на такси в Шамоникс, а оттуда поездом в Париж.

Швейцарской полиции удалось захватить лишь швейцарскую сталинку[1], на имя которой был нанят автомобиль, и чемодан Гертруды Шильдбах, оставленный ею в гостинице. Среди вещей были найдены многочисленные фотографии Шильдбах...

ПИСЬМО В ЦК ВКП

Письмо, которое я вам пишу сегодня, я должен был написать уже давно, в тот день, когда «шестнадцать» были убиты в подвалах Лубянки по приказу «отца народов»[2].

Я тогда молчал, я не поднял голоса протеста и при последующих убийствах[3], и за это я несу большую ответственность. Велика моя вина, но я постараюсь ее загладить, быстро загладить и облегчить этим свою совесть.

Я шел вместе с вами до сих пор — ни шагу дальше. Наши дороги расходятся! Кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма.

С двадцатилетнего возраста я веду борьбу за социализм.

[1] Рената Штейнер.

[2] С 19 по 24 августа 1936 г. в Москве прошел процесс по делу «троцкистско-зиновьевского центра» (Л. Каменева, Г. Зиновьева и др.) или, как его называли, «процесс 16-ти». Все подсудимые были расстреляны.

[3] С 23 по 30 января 1937 г. в Москве прошел процесс по делу «антисоветского параллельного троцкистского центра» (Г. Пятакова, К. Радека и др.), 11 июня состоялся суд над М. Тухачевским и другими военными.

Я не хочу теперь, на пороге пятого десятка, жить милостями Ежова[1].

У меня за плечами 16 лет нелегальной работы,— это не мало, но у меня еще достаточно сил, чтобы начать все сначала. А дело именно в том, чтобы «начать все сначала»; в том, чтоб спасти социализм. Борьба началась уже давно,— я хочу в ней найти свое место.

Шум, поднятый вокруг полярных летчиков[2], должен заглушить крики и стоны терзаемых в подвалах Лубянки, в Свободной, Минске, Киеве, Ленинграде и Тифлисе. Этому не бывать. Слово, слово правды, все еще сильнее самого сильного мотора с любым количеством лошадиных сил.

Верно, что летчикам-рекордсменам легче добиться расположения американских леди и отравленной спортом молодежи обоих континентов, чем нам завоевать мировое общественное мнение и потрясти мировую совесть! Но не надо себя обманывать, правда проложит себе дорогу, день суда ближе, гораздо ближе, чем думают господа из Кремля. Близок день суда международного социализма над всеми преступлениями последних десяти лет. Ничто не будет забыто и ничто не будет прощено. История строгая дама и «гениальный вождь, отец народов, солнце социализма» должен будет дать ответ за все свои дела. Поражение китайской революции, красный референдум и поражение немецкого пролетариата, социал-фашизм и народный фронт[3], признания, сделанные Говарду[4] и нежное воркование вокруг Лаваля[5], одно дело гениальнее другого!

Процесс этот состоится публично, со свидетелями, многими свидетелями, живыми и мертвыми; все они еще заговорят, но на сей раз скажут правду, всю правду. Они явятся все — невинно убитые и оклеветанные — и международное рабочее движение их реабилитирует, всех этих Каменевых и Мрачковских, Смирновых и Мураловых, Дробнисов и Серебряковых, Мдивани и Окуджава, Раковских и Нинов[6], всех этих «шпионов и диверсантов, агентов Гестапо и саботажников». Чтобы Советский Союз, и вместе с ним и все международное рабочее движение не стали окончательно жертвой открытой контрреволюции и фашизма, рабочее движение должно изжить своих Сталиных и сталинизм. Эта смесь — из худшего, ибо беспринципного,— оппортунизма с кровью и ложью грозит отравить весь мир и уничтожить остатки рабочего движения.

---

[1] Н. И. Ежов (1895—1940) возглавлял НКВД с 1936-го до 1938 г. Арестован в 1939 г., расстрелян.

[2] Имеется в виду перелет через Северный полюс в Ванкувер (США) В. Чкалова, Г. Байдукова и А. Белякова, совершенный 18—20 июня 1937 г.

[3] Речь идет о революции 1925—1927 гг., о плебисците в Германии в августе 1934 г. с целью придания законности приходу Гитлера к власти, который проходил в обстановке жесточайшего террора, и о крушении попыток КПГ создать в Германии в 1936—1937 гг. единый рабоче-народный фронт.

[4] 1 марта 1936 г. Сталин дал интервью американскому журналисту Рою Говарду.

[5] *Пьер Лаваль* (1883—1945) — премьер-министр Франции в 1931/32 и 1935/36 гг. В 1934/35 — министр иностранных дел. 2 мая 1935 г. в Париже полпредом СССР во Франции В. П. Потемкиным и Пьером Лавалем был подписан Советско-французский договор о взаимной помощи. Во второй мировой войне Лаваль — сторонник «умиротворения» фашистских агрессоров, капитулянт. В 1943-м — глава коллаборационистского правительства Виши. Казнен как изменник.

[6] *Л. Каменев, С. Мрачковский и И. Смирнов* осуждены и расстреляны в августе 1936 г.: *Н. Муралов, Я. Дробнис* и *Л. Серебряков* — в январе 1937 г.; *П. Мдивани* и *М. Окуджава* были расстреляны в Грузии; *Х. Раковский* арестован в 1936, судим в 1938 и расстрелян в 1941 г. Все реабилитированы посмертно. *Андрес Нин* — деятель Коминтерна и Профинтерна, был выслан из СССР. Руководитель Объединенной марксистской рабочей партии Испании (ПОУМ). Был арестован в июне 1937 г. в Барселоне и умер в августе того же года в тюрьме во время следствия. Возможно, был убит.

Самая решительная борьба со сталинизмом.

Не народный фронт, а классовая борьба; не комитеты, а вмешательство рабочих для спасения испанской революции — вот что стоит сейчас в порядке дня!

Долой ложь о социализме в одной стране и назад к интернационализму Ленина!

Ни II, ни III Интернационал не способны выполнить эту историческую миссию; разложившиеся и коррумпированные, они могут только удерживать рабочий класс от борьбы; они только еще пригодны на то, чтоб играть роль помощников полицейских для буржуазии. Какая ирония истории: раньше буржуазия поставляла из собственных рядов Кавеньяков и Галифэ, Треповых и Врангелей[1], а теперь под «славным» руководством обоих Интернационалов пролетарии сами выполняют работу палачей в отношении своих товарищей. Буржуазия может спокойно заниматься своими делами; везде царит «спокойствие и порядок»; есть еще Носке и Ежовы, Негрины и Диазы[2]. Сталин их вождь, а Фейхтвангер[3] их Гомер.

Нет, я больше не могу. Я возвращаю себе свободу. Назад к Ленину, его учению и делу.

Я хочу предоставить свои скромные силы делу Ленина; я хочу бороться, и только наша победа — победа пролетарской революции — освободит человечество от капитализма и Советский Союз от сталинизма.

Вперед к новым боям за социализм и пролетарскую революцию! За организацию IV Интернационала.

ЛЮДВИГ

17 июля 1937 г.

P. S. В 1928 году я был награжден орденом «Красного знамени» за мои заслуги перед пролетарской революцией. При сем возвращаю вам этот орден. Носить его одновременно с палачами лучших представителей русского рабочего класса — ниже моего достоинства.

(В «Известиях» за последние 14 дней были приведены имена награжденных орденами; функции их стыдливо не были упомянуты: они состоят в приведении приговоров в исполнение.)

Л.

---

[1] *Луи Эжен Кавиньяк* (1802—1857) — генерал. В 1848 г. военный министр Франции. Руководил подавлением июльского восстания 1848 г. в Париже. *Гастон Огюст Галифэ* (1830—1909) — французский генерал, один из палачей Парижской Коммуны 1871 г. Отличался особой жестокостью. *Ф. Ф. Трепов* (1812—1889) — генерал, с 1867 по 1878 гг.— обер-полицмейстер и градоначальник Петербурга. Отличался жестокостью при обращении с политическими заключенными. 24 января 1878 г. в него стреляла В. Засулич. Была оправдана судом присяжных. *П. Н. Врангель* (1878—1928) — генерал-майор, участник русско-японской и первой мировой войны. С августа 1918 г. в добровольческой армии. В 1924 г., в эмиграции, создал и возглавил Русский общевойсковой Союз (РОВС).

[2] *Густав Носке* (1868—1946) — германский правый социал-демократ, член Совета народных уполномоченных во время Ноябрьской революции 1917 г. Будучи военным министром, подавил всеобщую политическую забастовку берлинских рабочих в январе 1919 г. *Хуан Негрин* (1894—1956) — премьер-министр Испании в эмиграции. Член Испанской социалистической рабочей партии с 1929 г. *Хосе Диас* (1895—1942) — генеральный секретарь КП Испании (КПИ) с 1932 г.; во время Испанской революции 1931/39 гг. организовал Народную армию.

[3] Имеется в виду просталинская позиция Леона Фейхтвангера, выраженная в частности в книге «Москва, 1937». В ней Фейхтвангер описывал процесс Пятакова и Радека, на котором он присутствовал. Книга была издана на немецком языке и в кратчайший срок переведена и опубликована на русском языке. В 1939 г. была запрещена и изъята из библиотек.

Эльза Порецкая

НАШИ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИГНАТИИ РЕЙССЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ*

Убийцы Людвига наверняка находились в кафе, где мы встретились с Шильдбах. Им надо было проследить, чтобы она не раскололась. Теперь, когда я вновь и вновь возвращаюсь к тому последнему свиданию, я убеждена, что она была очень близка к срыву. Ее нервы могли сдать в самую последнюю минуту; еще и вечером того дня, за ужином, она могла предупредить Людвига и спасти его. Но она оцепенела от страха, да и обещание Росси жениться на ней тоже, наверное, сыграло свою роль.

Людвиг и Шильдбах ужинали в пригородном ресторанчике. Уже смеркалось, когда они стали возвращаться, за ними шла какая-то машина. Людвиг, должно быть, слишком поздно понял, что Шильдбах заманила его в ловушку. Он не сдался без боя — в сжатых пальцах у него остались клоки ее седых волос. Убийцам пришлось проехать не один километр, прежде чем в безлюдном месте они избавились от изрешеченного пулями тела. Что должна была чувствовать Шильдбах, сидя рядом с осевшим трупом единственного человека, заботившегося о ней? В отличие от Ренаты Штейнер, которая, по-видимому, не догадывалась, что она будет замешана в убийстве, Шильдбах знала, что Людвига убьют и что она выдавала не предателя правосудию, а коммуниста банде убийц-белогвардейцев и контрреволюционеров, нанятых Советским Союзом. Если же она пошла на все это ради любви и видов на замужество, то и тут она обманулась — как только убийство было совершено, любезностей Росси будто и не бывало: от него самого и его сообщников разило хамством убийц, которым надо было теперь предстать вместе с ней перед НКВД, дабы получить вознаграждение.

От швейцарской полиции я узнала, что Росси спал и с молоденькой Ренатой Штейнер, и с одинокой и стареющей, жалкой Гертрудой Шильдбах. Таково было его оплаченное амплуа. Однако Ренатой Штейнер, которой тоже заплатили, двигали во многих отношениях другие мотивы, чем Гертрудой Шильдбах.

Швейцарскую полицию удовлетворили показания Штейнер, и я тоже убеждена в искренности ее слов о том, что она не знала, на кого работала, думая, что приносит пользу Советскому Союзу. У нее, видимо, было лишь смутное представление об НКВД как организации. В Советском Союзе она побывала однажды в качестве туриста, приятно провела там время, и ей захотелось повторить вояж.

Она поведала швейцарской полиции о своей юности, не упомянув, правда, о том, за что ее сдавали в заведение для душевнобольных в местечке Милен под Цюрихом. На вопрос полиции, почему родители сделали это, она ответила, что им не понравилось одно ее любовное увлечение. По выписке из больницы она знакомится с коммунистами, которые рассказывают ей о Советском Союзе. Тем временем умирает ее мать, оставив ей кое-какие деньги, и она отправляется туристом в СССР. Там у нее было несколько романов и предложений выйти замуж (хотя кавалеры всегда испарялись), но получить вид на жительство или на работу ей так и не удалось. Она решила во что бы то ни стало приехать снова. Когда она обратилась за визой в советское посольство в Париже, ее направили в Союз возвращения русских эмигрантов[1].

Русская белая эмиграция делилась на несколько группировок, и хотя у них была общая цель — борьба с коммунизмом в России,— они беспрестанно враждовали между собой, плели интриги, доносили друг на друга французской полиции. В такой среде было легко вести вербовочную работу, ведь эмигранты были неимущими, оторваны от корней, деморализованы, они расходились даже в своих оценках того, что происходило в Советском Союзе. Все они одобряли ликвидацию Сталиным революций, но не обольщались насчет своего будущего — монархисты не питали иллюзий в отношении того, что Сталин возведет на трон нового Романова, а царские офицеры не могли помышлять о восстановлении их прежнего статуса. И в той, и в другой группировке у Советов давно действовали агенты, причем главные усилия сосредотачивались на объединении кадетов, так называемом кружке Гучкова. Основанный Александром Гучковым, бывшим членом Думы и военным министром после отречения царя, этот кружок был самым активным и, следовательно, наиболее насыщенным агентами среди белоэмигрантских групп, попав с самого начала своего существования под пристальное внимание Советов.

Разномастные эти группы сливались в Союзе возвращения русских эмигрантов, располагавшемся в доме № 12 по улице Бюси. Эта организация загадочным образом процветала. Некоторые из ее членов, те же длиннобородые православные священники с тяжелыми крестами на груди, должно быть, недоумевали: откуда берутся деньги, если репатриированных или хотевших вернуться русских раз-два и обчелся. Советам нужны были маститые эмигранты, например, православные священники, дабы придать организации респектабельный глянец. Были, правда, и такие, кто не отличался чрезмерным любопытством, так как их не привлекали к активной деятельности. Советы искали молодых людей, которые могли бы проникать во французские круги посредством своих связей с женщинами, выслеживать коммунистов, подозреваемых в антисоветских настроениях, совершать взломы квартир, где, по данным Советов, были улики, которые могли быть использованы против них, людей, готовых убивать.

Именно на Бюси Рената Штейнер познакомилась с Сергеем Эфроном, который в свою очередь представил ее Марселю Роллэну (он же Дмитрий Смиренский), жившему в Париже по соседству со Львом Седовым, сыном Троцкого. Эфрон и Смиренский пообещали Штейнер репатриантскую визу, хотя она и была швейцарской, а не русской подданной, в обмен на оказание услуги Советскому Союзу. Речь шла о том, чтобы она познакомилась с четой Седовых, отдыхавшей в Антибе на юге Франции. Штейнер согласилась на такой пустяк по сравнению с визой, к тому же не лишенный приятности. Она сняла комнату рядом с седовской. Ее снабдили деньгами и гардеробом да попросили всего-навсего сообщать Эфрону и Смиренскому о передвижениях Седова. Она, конечно, с честью выполнила поручение. С тех пор ее часто можно было видеть в Париже в компании ее обоих покровителей. Она уже не очень горела получить визу теперь, когда вокруг нее были мужчины, причем, по-видимому, несемейные. Помимо Эфрона и Смиренского она познакомилась с Кондратьевым, белоэмигрантским журналистом и тоже членом Союза возвращения.

* Elisabeth K. Poretsky. Our Own People. A. Memoir of Ignace Reiss and His Friends. London, Oxford University Press, 1969, pp. 236—242.

[1] Официальное название: Союз возвращения на Родину.

Рената Штейнер рассказала швейцарской полиции все, что требовалось для расследования убийства Людвига. Она сообщила им название отеля в Лозанне и имена двух постояльцев: Франсуа Росси, выдававшего себя за француза по фамилии Абиат, тогда как полиция установила, что он был гражданином Монако, и Гертруды Шильдбах. В снятых ими смежных номерах были найдены их вещи, причем в чемодане Росси обнаружили подробный план дома в Мексике, где жил Лев Троцкий. Как оказалось, Росси-Абиат был небезызвестен международной полиции и однажды арестовывался в США. Тот факт, что убийцы бросили багаж и коробку напичканных стрихнином конфет, предназначавшихся мне и моему ребенку, говорил о том, что они не возвращались в отель после убийства; они бежали, не расплатившись.

Штейнер сообщила полиции, что это она привезла коробку конфет из Парижа, переданную ей 25 августа неким «Лео», с которым она познакомилась через Пьера Луи Дюкоме и другого француза Этьена Шарля Мартинья. «Лео» поинтересовался, умеет ли она водить автомобиль, и когда она сказала, что у нее швейцарские водительские права, тот вручил ей конфеты, а также письмо для Росси, который должен был ждать ее в Берне. Встретив ее, Росси велел ей взять в прокатном агентстве «Казино» машину, затем сел за руль и уехал. Это было 2 сентября. Когда Росси заехал за ней снова, в машине уже сидели Кондратьев, Смиренский, Эфрон[1] и Шильдбах, которую она только тут увидела в первый раз.

Штейнер и Кондратьева довезли до Мартиньи, откуда ей было велено проследовать в нашу горную деревушку Финхаут. Штейнер рассказала полиции, как она увидела Людвига в деревне, улыбнулась ему и помахала рукой. Потом Кондратьев и она пошли в гостиницу в Мартиньи[2]. 4 сентября она следовала по пятам за мной из Лозанны в Террите и позвонила в гостиницу «Дё ля Пэ», доложив, что «Дядя» вышел из дому. Шильдбах распорядилась, чтобы она немедленно отправилась в Берн, где ей предстояло на следующий день встретиться с Росси. Кондратьеву же послали в Мартиньи 4 сентября телеграмму с предписанием вернуться «домой»; он понял и возвратился в Париж. Он и Рената Штейнер сделали свое дело.

Прождав напрасно Росси в Берне, Штейнер попыталась дозвониться ему в Лозанну и Париж — никто ей не ответил. Ее бросили одну. В то время как она силилась связаться с друзьями, она прочитала в газетах о преступлении под Лозанной, но ей и в голову не пришло, что оно имеет к ней отношение. От одиночества ей стало не по себе, и она отправилась в агентство «Казино» разузнать о машине. Там ждала ее полиция, установившая тем временем, что окровавленный автомобиль, найденный в Женеве, принадлежит этому бернскому агентству.

Убийцы в панике провалили хорошо организованное во всех других отношениях преступление, оставив после себя свидетеля, который их всех назвал и вскрыл тщательно охранявшуюся тайну использования белоэмигрантских организаций на службе Советского Союза. Самим же убийцам удалось улизнуть. Французская полиция допрашивала Эфрона[1] и Смиренского, но отпустила их. По словам французов, оба выехали в Испанию. Дюкоме находился в Париже, однако французские власти отказались выдать его на том основании, что он был французским подданным. Высокие политические соображения — французско-советский договор о взаимной дружбе, подписанный Сталиным и Лавалем,— сорвали сотрудничество между французской и швейцарской полицией, и Кондратьев получил возможность скрыться, а затем приложить руку к другому преступлению, содеянному три недели спустя. Но поскольку похищение генерала Миллера, в котором был замешан Кондратьев, произошло в Париже, на французской земле, французы не могли откреститься от него, как это было с убийством Людвига[2].

Что касается Росси и Шильдбах, НКВД, видно, заранее позаботилось об их отъезде — для них были готовы паспорта и надежное укрытие, где они могли переждать, наблюдая за ходом следствия. Не исключено, однако, что после такого провала их надо было как можно скорее убрать из Европы. Убийц могли доставить в Испанию, а там посадить на советское судно, или отправить на судне из французского или бельгийского порта в Москву для получения мзды от НКВД. Но Москве нельзя было больше воспользоваться мастерством Росси-Абиата — полиции всего мира разыскивали его, а его приметы и фотография были напечатаны в газетах. Ну а Шильдбах? На что она могла надеяться? Она помогла убить революционера, единственного друга в ее жизни, человека, которого она чтила, уважала, слушала, и... оставила в живых меня. Этим она нарушила приказ и испортила все дело. Отправил ли ее НКВД в холодные края, как это обычно делалось со скомпрометировавшими себя агентами, дабы они никогда не попались европейцам на глаза? Была ли она ликвидирована на месте? Или ей дали покончить с собой?

К приезду в Лозанну Сниврлита[3], которого я вызвала телеграммой, у швейцарской полиции была вся необходимая информация, и можно было приступить к опознанию трупа и передаче его для захоронения. Полиция взяла под свою опеку моего сына с тем, чтобы дать мне и Снивлиту возможность присутствовать при кремации. Нас было трое в огромном колумбарии лозаннского кладбища: Снивлит с женой и я. У двери, не бросаясь в глаза, стояли двое швейцарских полицейских в штатском.

Мы со Снивлитом сказали полиции, что «Ганс Эбергард»[4] — вымышленное имя, и назвали убитого по фамилии Рейсс, о чем мы заранее договорились. Как-то Людвиг упомянул при мне, что в его роду были Рейссы. Мы же остановились на этой фамилии потому, что я

---

[1] Из показаний Штейнер полиции следовало, что С. Эфрона в машине не было.

[2] 3 сентября в Лозанне швейцарская полиция, проверяя документы в связи с приездом маршала Петэна в качестве наблюдателя на учения швейцарской армии, задержала Кондратьева. Однако его паспорт был в порядке, и его отпустили.— *Прим. авт.*

[1] Согласно материалам французской полиции, ей не удалось допросить С. Я. Эфрона, так как он спешно покинул Францию.

[2] Кондратьев был первым помощником генерала Скоблина, советского агента с большим стажем, который сыграл роль Шильдбах: он заманил генерала Миллера, возглавлявшего Русский общевоинский союз, на свидание, с которого генерал не вернулся. Миллер оставил записку, изобличавшую участие Скоблина в похищении, однако Скоблин, улучив момент, исчез, бросив свою жену, певицу Надежду Плевицкую, на произвол судьбы. Французские власти предали ее суду, на котором выяснилось, что Скоблин и Кондратьев были членами гучковского кружка, поддерживавшего связи с германским генеральным штабом. Суд также пролил свет на причины похищения Миллера: он знал, что «доказательства» предательства Тухачевского и других генералов Красной Армии были состряпаны нацистами, действовавшими через Скоблина.— *Прим. авт.*

[3] Хенк Снивлит — голландский троцкист, близкий знакомый Людвига.

[4] На убитом Людвиге был найден паспорт на имя чехословацкого гражданина Германа Эбергарда.

была уверена, что в Москве она не значится. По мнению Снивлита, это могло содействовать нашей с сыном безопасности. Так, Игнатий С. Порецкий стал «Игнатием Рейссом»; под этим именем он и получил известность. Мы сказали полиции, что погибший был советским коммунистом, противником нынешнего режима в Советском Союзе, но не сообщили каких-либо других сведений о нем, в частности, с каким советским ведомством он был связан. Нам не хотелось давать огласку всему, тем более что письмо Людвига было широко опубликовано, а расследованием его дела занималась лишь полиция. Нам казалось, что мы поступили по его желанию. Ему хотелось придать гласности свой разрыв с Советским Союзом и привлечь к нему внимание всего мира и, как он надеялся, коммунистов за границей. Он не стал просить полицию обеспечить ему охрану, и я пришла в полицию только опознать труп. НКВД обязан сам себе тем, что дело попало в руки полиции, прежде чем о нем узнал кто-либо другой помимо Москвы.

Швейцарская полиция передала мне бумажник Людвига. В нем были французские и швейцарские счета да билет на поезд в Реймс, пробитый пулей.

Вступление, публикация и комментарии
МАЭЛЬ ФЕЙНБЕРГ и ЮРИЯ КЛЮКИНА

Александр Путко

МУКИ ТВОРЧЕСТВА ВРЕМЕН КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ

— Сашка! Перед тобой Сталин, а не хрен собачий!..

На мгновение в павильоне воцарилась тишина. Даже я, четырнадцатилетний мальчишка, понимал, чем чревата такая вольность при упоминании святого имени.

Был тридцать девятый год. На киностудии «Союздетфильм» создавался один из киношедевров того времени — «Сибиряки». Я играл пионера, попавшего в Кремль, к Сталину. Измученный долгими приготовлениями — установкой света, звуковыми пробами, многократными репетициями, я довольно вяло изобразил восторг при встрече с вождем всех народов. Режиссер Лев Владимирович Кулешов, уловив фальшь в моей игре, не выдержал и в сердцах выпалил ту крамольную фразу. Ее услышали все, кто находился в павильоне: ассистенты, оператор, актеры, гример, рабочие-осветители, даже дежурный пожарник.

Но по порядку. Действие фильма происходило в селе Новая Уда, где когда-то отбывал ссылку Сталин. Двое ребят (одного из них изображал я) узнали, что Сталин в ту пору подарил местному крестьянину-охотнику свою трубку. Крестьянин в гражданскую войну стал партизаном и погиб, а трубка с отметкой — следом японской пули под ободком на мундштуке — как реликвия переходила из рук в руки. Ребята с множеством приключений нашли эту трубку. А тут (бывают же в жизни совпадения!) их как отличников учебы награждают экскурсией в Москву. Само собой, они приходят в Кремль и торжественно вручают Сталину его трубку. Вождь раскуривает ее и, ласково улыбаясь в усы, произносит, как теперь мы понимаем, весьма зловещую фразу: «Трубку друга курить будешь, друга помнить будешь». И это все происходит в Кремле, у пионерского костра, разложенного неподалеку от Царь-пушки...

«Бред» — возможно, скажете вы. Но разве вся наша жизнь в те времена не была бредом? Нынешняя молодежь еще может понять, почему в тридцатые годы выпускались такие фильмы, но как ей объяснить, почему за их производство брались лучшие мастера? Недавно по ленинградской программе «Пестрая лента» показывались фрагменты фильма «Сибиряки». Ведущий программу сравнительно молодой киновед объяснил это по-своему: Кулешов, дескать, рассказывал зрителям сладкие сказочки, подобно Великому утешителю — герою одного из собственных фильмов.

Если бы все было так просто!

Лев Владимирович Кулешов — имя, сегодня малоизвестное широкой публике. А между тем он был народным артистом РСФСР, профессором, одним из основателей советской кинематографии, учителем Эйзенштейна, Пудовкина, Барнета и многих-многих всемирно известных режиссеров и актеров. Он явился основателем первой государственной школы кино и директором ВГИКа. Кулешова по праву называли «дедушкой советской кинематографии», и он как патриарх удостоился чести открыть Первый учредительный съезд Союза советских кинематографистов. Сегодня учебники истории кино в СССР и за рубежом открываются именем Кулешова. Оно стоит в одном ряду с именами Чаплина, Садуля, классиков французского и итальянского экранов. Кстати, все они были друзьями Кулешова, равно как и Маяковский, Пикассо, Арагон.

Свою кинематографическую карьеру Лев Владимирович Кулешов начинал еще до революции, на студии А. А. Ханжонкова. Был художником, актером, снимал картины. При советской власти занимался хроникой, режиссурой первых «немых» лент. Он внес заметный вклад в теорию кино, предложив, в частности, новый принцип монтажа, известный как «эффект Кулешова». Им написаны учебники, которыми пользовались и продолжают пользоваться режиссеры советского и зарубежного кино. Фильмы Кулешова «Луч смерти», «По закону», «Приключения мистера Веста в стране большевиков» и другие в двадцатые годы принесли ему заслуженную славу. И вот имя этого великого «волшебника-нигроманта», как называл его близкий друг Сергей Юткевич, сошло с кинематографического небосвода и кануло в Лету. Как такое могло случиться?

Первый удар был нанесен Льву Кулешову в 1930 году, после выхода картины «Два Бульди два». Кулешова обвиняют в правом уклоне. В журнале «Кино и жизнь» появляется статья-донос «Буржуазные влияния в советском кино». Теперь задним числом в ней писалось, что фильм «По закону» был-де упадническим, а еще более ранний — «Веселая канарейка» — ни что иное, как реакционная буржуазная пошлятина... Следующий фильм — «Великий утешитель» (1933) был встречен шквальным огнем критики, которая, словно утаившись в засаде, ждала выхода картины. Дело было, конечно, не в фильме. Широким фронтом наступала серость. И мастер, стоявший на голову выше массы работников киноискусства, был обречен. Но форму следовало соблюсти. На этот раз режиссера обвиняли в аполитичности и безыдейности, в

формализме и преклонении перед иностранщиной. И одного из этих обвинений было достаточно, чтобы уничтожить человека не только в переносном, но и в буквальном смысле.

Чем же так не нравился критикам (читай — идеологическому руководству) фильм «Великий утешитель», в основу которого легли эпизоды из биографии О'Генри и две его новеллы? В Большой Советской Энциклопедии о творчестве замечательного американского писателя говорится, что рассказы О'Генри отличаются изобретательной фабулой, юмором, меткими социальными наблюдениями. В ряде произведений он с едким сарказмом говорит о пороках капиталистической Америки... Вроде бы, все как надо. В чем же тогда дело?

А в том, что читаем мы все это в нынешнем, третьем издании энциклопедии. В тридцатые же годы официальная точка зрения на О'Генри и его творчество излагалась, естественно, в первом издании БСЭ. А там прямо было сказано, что это художник городского мещанства, обходящий жизненные контрасты, намеренно исключающий отрицательные стороны жизни в капиталистическом обществе. Вот так! И теперь понятно, как неосмотрительно поступил Кулешов, обратившись к творчеству столь «чуждого нам», да еще и американского литератора.

При обсуждении фильма на студии в резолюции было записано: «Путь Кулешова за последние годы шел под знаком крупных художественных и политических ошибок». И еще один любопытный документ — опубликованные в одной газете итоги диспута, организованного после просмотра фильма. По высказываниям, зрительская аудитория очень резко выразила себя классово. Рабочий сказал, что он вообще ничего не понял, вузовка поняла картину, много о ней думала, но кое-что не поняла. Выступал дворник, сказал, что ничего не понял, что самая лучшая картина — «Каштанка». Некий «интеллигентный зритель» дал высокую оценку картине, но воспринял «идею утешительства как что-то мешающее»... «Кулешов не осудил О'Генри, не сверг этого идола буржуазной романтики,— писала другая газета.— Перед нами одна из самых чуждых нашему зрителю картин».

После этого Кулешов был отстранен от работы в кино. Писатель, если его не печатают, может работать «в стол». Художник, которого не выставляют, продолжает творить в надежде, что потомки все же увидят его полотна. Иное дело — кинорежиссер. Ему для осуществления замыслов нужны съемочная группа, павильоны, аппаратура, реквизит, костюмы и многое другое. Работать в одиночку он не может.

Кулешов не работал. Лучшие его годы уходили безвозвратно. Было от чего придти в отчаянье! И вот через семь лет высокое начальство вспомнило о нем. Кулешову предложили снять фильм «Сибиряки». Мог ли он отказаться? Наверное. Но означало бы это только одно: крест на работе в кино. Кулешов на это не пошел. Вправе ли мы сегодня осуждать его за это?

Первым на роль Сталина пробовался Ираклий Луарсабович Андроников — уже тогда прославленный имитатор, автор устных рассказов, литературовед.

Невысокий, кряжистый, одетый во френч защитного цвета и сапоги, он походил на Сталина даже без грима. Сразу же входя в роль, Ираклий Луарсабович неторопливой походкой направлялся в гримерную, усаживался в кресло перед большим зеркалом и, пристально вгля-

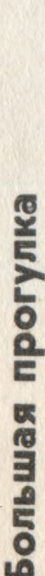


Путь к истине



Беды стариков





Большая прогулка

дываясь в свое отражение, по-сталински щурился и вскидывал бровь изломом.

Многочисленные зрители толпились у двери в ожидании чуда. Гример-художник Владимир Георгиевич Яковлев священнодействовал. Разложив перед собой на столике множество фотографий вождя, тонкими нервными пальцами он накладывал грим, с помощью специального пластыря изменял форму носа актера, подводил морщины. Ираклий Луарсабович все больше обретал черты человека, знакомого нам по портретам, висевшим в школьных классах и парикмахерских, служебных кабинетах и поликлиниках, фойе кинотеатров и витринах магазинов. Наступал кульминационный момент. Владимир Георгиевич, достав из ящика усы, тщательно смазывал их клеем и, осторожно приложив, утверждал под носом Андроникова. У зрителей вырвался вздох восхищения. Теперь, с усами, это несомненно был он — великий рулевой. Углубленный в свои думы, никого не видящий, точно знающий, что мы расступимся, он поднимался с кресла и шел сквозь толпу в павильон, где уже все было готово к съемкам...

Ираклий Луарсабович очень серьезно работал над этой ролью. Подолгу стоя у зеркала, повторял одну и ту же фразу на разные лады, то ослабляя, то усиливая грузинский акцент, отрабатывая мимику и жесты, характерные для его героя. Говорят, у Андроникова была пластинка с речью Сталина на XVII съезде партии, и Ираклий Луарсабович многократно прослушивал ее каждый день.

Помню две коробки с пленкой. Необычные — блестящие, очень красивые, должно быть, заграничные. И наклейки на них были необыкновенными — глянцевыми, с четкими буквами:

«Пробные кадры к фильму «Сибиряки».
Режиссер Л. Кулешов.
В роли тов. Сталина — И. Андроников».

Пленки были приготовлены для отправки в Кремль. Лев Владимирович рассказывал потом, что их просмотрел лично Сталин. «Хороший артист Андроников,— заключил он.— Но почему не Геловани?»

Вскоре на киностудии появился проверенный и многократно утвержденный на роль вождя М. Геловани. Был он высок ростом, строен, красив, элегантен. Нас, актеров, он встретил у себя в роскошном гостиничном люксе. На маленьком столике стояли приготовленные бутылки с фруктовыми водами, бутерброды и пирожные. Мы репетировали сцену для новой кинопробы. За окном простиралась Манежная площадь. Мы видели Кремль и длинное желтого цвета здание с куполом, где возможно в это время находился настоящий Сталин. И это создавало особый настрой...

В перерыве между репетициями я с наслаждением пил шипучую воду, прислушиваясь к тому, о чем говорят взрослые. Кулешов объяснял Геловани, что на этот раз ему впервые предстоит изображать Сталина не молодого, а современного, то есть шестидесятилетнего. Прославленный актер кивал головой и вежливо улыбался. Он-то знал, как следует играть Сталина.

Потом были пробные съемки. Геловани пришел на студию со своим личным гримером. С восхищением мы разглядывали шикарный кожаный чемоданчик с блестящими замочками, с овальным зеркалом на откидной крышке, с множеством клеточек-ячеек для грима разных цветов, с растушовками, кисточками и какими-то другими замысловатыми

инструментами. И вот загримированный Геловани — красивый, величественный, благоухающий — твердой походкой направился в павильон, вежливо улыбаясь встречным — знакомым и незнакомым...

Снятую пробную сцену отправили в Кремль, и вскоре стало известно: Геловани утвержден на роль Сталина.

Спустя много лет, будучи взрослым и даже уже немолодым человеком, я встретился с Андрониковым. Мы вспоминали съемки «Сибиряков» и конечно ту историю с его пробой на роль вождя.

— А знаете, почему мне не повезло? — лукаво улыбнулся Ираклий Луарсабович.— Я был слишком похож на своего героя.

На экраны фильм вышел в 1940 году. Были торжественные премьеры и восторженные рецензии. Хвалили М. Геловани, «сделавшего новый шаг в раскрытии образа великого Сталина», отдавали должное и Л. В. Кулешову, которого зрители уже успели забыть.

— Это было поразительно,— говорил близкий друг Кулешова С. И. Юткевич,— на слабой, в общем-то никуда не годной литературной основе Кулешов сумел создать по-настоящему романтическую, высокохудожественную ленту! Ряд кадров из «Сибиряков» в последующие десятилетия, да и сейчас, служит наглядным пособием для студентов ВГИКа. А сколько было открытий, новых приемов, которые взяли потом на вооружение многие режиссеры, в том числе и я! И все же фильм не мог стать явлением в искусстве кино, не мог из-за слабости и надуманности темы.

А что было у Кулешова после «Сибиряков»? Снова простой, переделка чужого неудачного фильма, забракованного студией. Затем — война, эвакуация, съемки «оборонных» фильмов, короткометражек для «Боевого киносборника», а после войны приближающаяся старость. Пик творческих возможностей художника был уже пройден. Кулешов чувствовал это и больше фильмов не снимал. И все же он много сделал для развития мирового киноискусства. И было бы справедливо увековечить имя мастера, присвоив его Всесоюзному государственному институту кинематографии. Ведь Кулешов создал первую советскую государственную школу и ушел из жизни, будучи директором ВГИКа.

Сталинский каток переехал и его, хотя в этой судьбе, к счастью, обошлось без ночного ареста, без допросов и пыток в тюремных застенках. Вспоминаются судьбы Михаила Булгакова, Анны Ахматовой, Михаила Зощенко. Ведь и с ними Сталин обошелся, можно сказать, гуманно: не расстрелял, не посадил. И Кулешова не тронули. Он просто был отлучен от творческой работы именно в те годы, когда больше всего мог сделать для людей. Его жена и соратница Александра Сергеевна Хохлова, прошедшая с ним рука об руку через все невзгоды, как-то сказала: «Бог хранил Льва Владимировича в трудные минуты».

А может быть, дело в близких людях, товарищах по творчеству? В их доброте и порядочности?

...Мне снова вспоминаются павильон, пробные съемки И. Л. Андроникова и раздраженно-озорной голос Кулешова:

— Сашка! Перед тобой Сталин, а не хрен собачий!..

В павильоне в это время было человек пятнадцать, никак не менее. И ведь никто не донес, не предал!

Анатолий Мариенгоф

БРИТЫЙ ЧЕЛОВЕК

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

1

А вот и конец истории: моя лошадь шарахается в сторону и удивленно, по-человечьи, скашивает глаза. Кобыла Лео длинноногая, черная, как еврейка, поднимается на дыбы и отмахивается, словно руками, от этого ужаса. Третья лошадь чувствует себя превосходно: играя порожним седлом, она перескакивает через канаву в траву.

У Лидии Владимировны вместо головы — кровавая лепешка. Серые, рассыпавшиеся волосы забрызганы кровью, костями, мозговой мякотью и черным фетром. Маленькая рука в молочной перчатке сжимает ивовый прут. Полчаса тому назад, поднося почтительно эту теплую, даже сквозь перчатку, руку к губам, я спросил:

— Разрешите, Лидия Владимировна, снять чулочки с пальчиков?

Она улыбнулась моему другу глазами, украденными у госпожи Пушкиной.

— Разрешается?

Она была натоплена счастьем, как маленькая деревенская банька.

Лидия Владимировна лежала на спине, сжав колени. Выпавшая из пудреницы пуховка плакала гильотинированным одуванчиком в кровавой луже. Земля была влажная, глинистая. Она всасывала кровь медленно, смакуя ее, как старое вино.

Небо высокое, голубое. Немецкий аэроплан казался крылатым амуром, что вооружен луком и веселыми стрелами.

На голубое небо в пяти-шести местах упали очень милые снежинки,— не хочется думать, что это шрапнельные разрывы. Наши зенитные орудия обстреливали немца лениво, наперед зная, что проку не будет. А тот летал тоже без толку, прогулки ради (как петербургская дама по солнечной стороне Невского проспекта) — не пропадать же хорошему дню: почему не прогуляться за пятнадцать верст до ближайшего тыла противника, где, к несчастью, был расположен штаб нашей Инженерно-Строительной Дружины, находившейся в ведении общественных организаций — земских и городских.

Лидия Владимировна была убита упавшим «стаканом», посланным от нечего делать русским артиллеристом в небо.

2

Я кричу:

—Лео! Лео! Лео!

Его кобыла бросает мне в глаза копыта. Я вижу, как он рассекает ей голову промеж ушей стеком и рвет блестящее брюхо шпорами. Кобыла вытягивается в карандаш. А ему, по всей вероятности, кажется, что она плетется мелкой рысью.

Продолжение. Начало см. в № 5—6.

Я еще продолжаю на что-то надеяться:

— Лео! Лео!

Ведь он же знает, как я боюсь мертвых. Мне всегда чудится, что они со мной разговаривают. А от комариной капельки крови меня тошнит. В гимназии, на выпускном экзамене, когда у Нюмы Шарослободского от страха пошла кровь носом, со мной случился припадок, близкий к эпилептическому. Припадок, как прачка, намылил мне губы и, словно игрок в домино, перевернул глаза с темного брюшка на белое.

«В конце концов, это его любовница. Какое мне дело?»

С присущим моему другу благородством, он уступил ее мне, когда ее голова стала отвратительной лепешкой, уснащенной густым липким кровавым вареньем — похожим на малиновое.

Сковорода сказал бы про мою душу, что она тощая и бледная, точно пациент из лазарета. А душу моего друга он бы, возможно, уподобил Библии, которая, по его словам, породила не львов или орлов, а мышей, ежей, сов, вдов, нетопырей, шершней, жаб, песьих мух, ехидн, василисков, обезьян и вредящих Соломоновым виноградникам лисиц.

3

Дорога была обмазана солнцем, как иодом. От трепетаний прямых сосен пел воздух. Небо, спокон века напухшее голубизной и потому не впитывающее моего отчаяния, казалось тяжелей греческой губки, вынутой из горячей ванны. Если бы оно было тучистое или мглистое — дышалось бы легче.

Лошадь медленно передвигала ноги. Лидия Владимировна лежала поперек седла. Ее серебристые шпорики игриво тинькали, худенькое плечо доверчиво прижималось к моим коленям, несгибающиеся пальцы не противились моему пожатью. Если бы у нее была голова, может быть я поцеловал бы ее в губы.

Я подумал о своем внутреннем хозяйстве. В эту минуту оно мне показалось образцовым. Вроде имения Константина Федоровича Костанжогло, где даже свинья глядела дворянином.

Продолжить прекрасного рассуждения не удалось — Лидия Владимировна скатилась с седла. Лошадь рванулась и заскакала. В ужасе я вцепился одной рукой в ногу трупа, развевающего по ветру кровавые волосы, как знамя революции, другой рукой за гриву одуревшего животного.

Сосны звенели. Дорога, вымазанная солнцем, вертелась. Я закрыл глаза. Зубы кусали воздух. Сначала он казался жестким, как бифштекс, потом вдруг сделался жидким, как вода. Я стал захлебываться.

4

Через три дня за Лидией Владимировной из корпуса приехал муж. Артиллерийский офицер походил на сельского учителя. Полковничьи погоны с белыми генштабистскими жгутиками будто шутки ради были прицеплены к мешковатой гимнастерке, подпоясанной, как ситцевая рубаха. Стекла круглых очков были все время мутны, словно его глаза дышали. Рыжеватые сапоги сморщились, как человек, собирающийся заплакать.

Он сидел у гроба, пощипывая редкую бороденку непонятного цвета. А когда ему казалось, что никто не видит, он гладил Лидии Владимировны руки и по-домашнему, без попреку, протирал запотевшие стекла своих очков ее черной юбкой в шершавых пятнах от подсохшей крови.

5

Лидия Владимировна лежала с закрытым лицом, а мой друг в 1922 году лег в деревянный ящик будто в кровать к любовнице.

К последнему блестящему выезду его снарядила моя жена. Вытаскивая голову из петли, она прощебетала:

— Ах, какой ужасно, ужасно непривлекательный!

И тут же вынула из гипюровой сумочки герленовскую губную помаду, карандаш для бровей, пудреницу и тушь для ресниц, так называемую «плевательницу».

Моя жена преобразила его в несколько минут. Белые, сухие губы стали пунцовыми и жирными, бровь изогнулась мефистофельскою презрительностью, а пыльные щеки заперсиковели.

Гроб с моим другом стоял в общественном здании. Мраморные колонны были одеты в пурпур и креп.

Знаменитые актеры читали моему другу Державина, Пушкина и Александра Блока. Скрипач с мировым именем Наум Шарослободский играл Гайдна. У Нюмы все также висела на носу капелька, хотя грудь его, шея и руки были осыпаны хрустким снегом крахмала, а комберленовский фрак облил тщедушное тело черным дождем. Балерина, носившая название «народной», танцевала ему «Умирающего лебедя». У балерины были глаза, как две огромные слезы.

Человек, повешенный мною, лежал в гробу как фараон. Я был удивлен, почему не снабдили его моссельпромовским печеньем «Сафо» и несколькими баночками пищетрестовских консервов.

Около разлагающегося трупа представители общественных организаций, друзья и возлюбленные несли почетный караул.

Примерно с пятого года революции москвичи заобожали покойников. Как только умирал поэт, стихов которого они никогда не читали, глава треста или актриса, сошедшая со сцены четверть века тому назад, граждане сломя голову бежали «смотреть».

На мертвецов образовывались очереди, как на подсолнечное масло или на яйца. В очередях ругались, вспоминали старое время, заводили знакомства, обсуждали политические новости. Словом, мертвецкие хвосты ничем не отличались от кооперативных. Некоторые приходили в очередь с бутербродами, некоторые с книгами, некоторые со складными стульчиками, а рукодельницы с вязаньем или вышиваньем.

Люди, имеющие склонность поблистать, положительно не пропускали ни одного сколько-нибудь видного покойника. Премьеры или вернисажи не могли конкурировать с похоронами.

Я сам недосужно ответил на приглашение, далеко не лишенное заманчивости:

— Не могу. Не могу. Днем я на Ермоловой, а вечером в Большом на Борисе.

Великую Ермолову хоронили еще пышнее, чем моего друга.

Когда шофер в кожаных латах и с опущенным кожаным забралом остановил госиндикатовскую машину с Сашей Фрабером около общественного здания в пурпуре и крепе, очередь на моего друга уже завернула за угол второго квартала.

Секретарь Фрабера — юноша с портфелем из крокодиловой кожи — шепнул на ухо своему патрону:

— Александр Августович, не беспокойтесь, распорядитель погребения мой закадычный приятель.

Но Саша Фрабер, сложив губы недовольным бантиком, сказал:

— Товарищ Лошадев, я принципиально против протекции.

И встал в хвост как раз в тот момент, когда взбалмошный гражданин в буланой поддевке (под цвет бороды) кричал некой флюсатой гражданке с соломенной кошелкой:

— Я у вас, мадам, в ноздре не ковыряю, так и вы в мою не лезьте.

Гражданка, по-видимому, отнеслась к гражданину с неуместным поучительством.

А немного поодаль женщина, похожая на ватку в больном ухе, говорила старухе, зловещей, как медный пятак на глазу покойника:

— А вы слышали, маман, о последнем фейерверке Елены Павловны, сошлась, figurez-vous, с приказчиком из Рабкоопа.

— Приспособтесь, гражданин из автомобиля, приспособтесь. За этой девушкой приспособтесь.

Клетчатая немка с трубы фыркнула.

— Как же-с! Девушка: на левое ухо.

Саша, глотая слезу, встал в хвост.

6

Перед тем как заколотить гроб с Лидией Владимировной и перенести его на артиллерийскую двуколку (полковник увозил Лидию Владимировну), он для чего-то положил около небьющегося сердца своей жены крохотный портретик девочки, по всей вероятности, с серой косичкой.

За несколько минут до отъезда, протирая запотевшие стекла очков (запотевшие глаза нельзя было протереть), он попросил:

— Познакомьте меня с этим человеком.

Я пошел к моему другу.

— Он хочет тебя видеть.

— Пусть отправляется ко всем собакам.

Не глядя в глаза, я пробормотал:

— А по-моему, тебе бы следовало пожать ему руку.

— Не имею ни малейшего желания.

Мне пришлось соврать артиллерийскому полковнику, что мой друг болен.

Полковник, смущенно подергав крестик Белого Георгия, почти виновато проронил:

— Если он не хочет проститься с Лидочкой при мне, я выйду.

Чтобы не огорчать чудака, я сказал:

— Пожалуйста.

7

Ночью Лео играл в покер. Играл, как всегда,— осторожно, расчетливо, без оплошалостей. Он редко проигрывал. Его длинные, не в меру гибкие пальцы наводили на скверные мысли. Но он, разумеется, не передергивал.

Хотя, на его месте, я бы не садился за карточный стол в этом френче из дорогого английского коверкота, в этих мягких сапогах из французского шевро, обтягивающих ногу, как бальная перчатка. И френч и сапоги были сделаны на «покерные деньги».

Лео, не вынимая из зубов папиросы, промямлил:

— Ваши десять рублей и еще пятнадцать.

У Петра Ефимовича завлажнели брови:

— Эх, пал дуб в море, море плачет,— четвертый разочек до покупочки повышаете, Леонид Эдуардович. Право же-с, играть мне с вами, маэстро, что комару на зимнего Николу петь: кафтанчик короток!

И Петр Ефимович расстегнул ремень на завлажневшей рубахе:

— А ведь у Леонида Эдуардовича, ей-ей, на руках флешрояль. Говорю, в игре у него крылья орловы, а хобота слоновы. Беда!

Подрядчик, переодетый, как и все мы, в военного чиновника, до войны сражался с супружницей в свои козыри или, на худой конец, с десятниками в двадцать одно. Сейчас он, по всей вероятности, с нежностью вспоминал эти игры, не воспрещающие таинственным «блеф пар жест» выпенивать из себя вулканические страсти.

Думается, что Петр Ефимович и играл-то в покер из-за таинственных иноземных слов, которые произносил он с полным наслаждением, нимало не подозревая, что они после процеживания сквозь его гуляй-полевские усы становились самыми что ни на есть оханскими.

— Значит, сервнете, Леонид Эдуардович?

Мой друг улыбался, позвякивал шпорой, шелестел картами. А я думал об артиллерийском полковнике, похожем на сельского учителя. В ту ночь чудак, наверное, не мог бы играть в покер. Он вообще, мерещится мне, недоумевал, как в эту ночь лошади могут жевать овес, солдаты ловить вшей, луна золотить землю, немцы ненавидеть русских, орудия икать, сестры милосердия давать офицерам.

В эту ночь!

8

Вторым заядлым покеристом и постоянным партнером моего друга был Алеша Тонкошеев, молодой актер Художественного театра. Алеша был человек благоразумный, предусмотрительный и потому несчастный. Бывало не успеет еще Петр Ефимович раздать по три карты, а уж Алеша обымает будущее грустным взглядом:

— У меня сейчас, вот увидите, стрит тузовый подбреется, а у Лео, голову прозакладую, тройка и двойка. Горько плакали мои фишки.

И Алешины фишки, действительно, горько плачут под восторженный всплеск Петра Ефимовича:

— Матадор вы, Леонид Эдуардович, арены мадридской!

И не только в покере обымал Алеша Тонкошеев будущее взглядом своих добрых белокурых глаз. Бывало сидим на зеленой скамейке перед фанерным домиком, вечер лучше и не придумаешь: заря бражничает, верещит тальянка, ветер пришептывает неподаль в червонеющих березах. Будто мы не в тылу фронта, а в каком привольном селе размашистой черноземной губернии. Вкруг скамейки пораскидались — сердечками, лунками, бараночками цветущие клумбы.

Я копошусь кортиком в настурциях и резеде. Людей мы не рушим и потому не жалованы шашкой. Рот у меня, сам чувствую, до ушей. Петр Ефимович сказал бы: «Хоть завязочки пришей».

Алеша страдальчески ломает брови:

— Ну, чему радуешься, чего?

— Да вот резеда распустилась, пахнет чудесно.

— Распустилась! Пахнет! А через неделю что? Гнильно, может быть, пахнуть будет?

— По всей вероятности.

— Вот и посуди сам, чему же тут радоваться? Цветочки неделю живут, а потом вянут, осыпаются, гниют, а ты от этого в телячий восторг приходишь. Удивительные люди!

Алеша отрешенно похрустывает пальцами. А через минуту:

— Чего дышишь, чего?

— Хорошо. Прохладно.

— Прохладно. А завтра что будет? Какой день?

— Должно быть, жара. Закат кровяной.

Он обрадовался:

— Ага, жара! А ты наслаждаешься, сияешь?

Я беру Алешу за руки:

— Тонкошеечка дорогой, хочешь быть в жизни немножечко посчастливей?

— Дурацких советов и слушать не желаю.

— Я только хочу сказать, Алеша, что всегда лучше думать о сегодняшней прохладе, чем о завтрашней жаре. Вот и все.

Он сердито поднимается со скамейки:

— Скотская философия.

И уходит, не взглянув на меня.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

1

Когда мой друг увидал у Лидии Владимировны две еле уловимые морщинки у косячков рта, он сказал:

— Время аккуратный автор. Оно не забыло поставить дату и под этим великолепным произведением.

Я спросил:

— Какой месяц обозначает цифирка?

— Начало июля. Лето в полном разгаре. Впрочем, мне думается, что осень тоже будет не лишена очарования. Ах, как я влюблен в эту женщину!

Каждое утро Лидия Владимировна говорила:

— Лео, сегодня последний день.

Так продолжалось две недели. Она хваталась за голову:

— Прошел месяц, как я уехала из Пензы.

— Но ведь ты же была у мужа.

— Сколько я у него была?

— Ровно столько, сколько он заслужил своей любовью.

Лидия Владимировна была убита в день, когда ее чемоданы уже были на станции. Из Пензы пришла телеграмма, что девочка с глазами, как у маленькой госпожи Пушкиной, заболела скарлатиной.

2

Жительствовали мы в чистеньких фанерных домиках. В комнатах было уютно. По вымытому полу разбегались крученые, в разводах, половички. На столе лежала льняная скатерть. Кровати, застланные пикейными одеялами, пахли утюгом, белой мыльной пеной и девичьими руками. В фаянсовом кувшине у изголовья кровати стояли чайные розы. Их привозила моему другу женщина-врач Юлинька.

Юлинька заведовала госпиталем, которому бесконечно не везло: с начала войны в нем еще не простонал раненый, Юлинька нервничала, ругала разленившихся на Западном фронте пруссаков и безуспешно ездила каждые две недели в Минск выпрашивать раненых. А ее сестры милосердия разводили породистых цыплят, выращивали французский горошек, чайные розы, ездили верхом, зимой ходили на лыжах, летом играли у нас в теннис и участвовали в наших любительских спектаклях. Юлинька относилась к ним трогательно: выслушивала сердечные тайны, журила, делала аборты. Сестры уверяли, что у нее легкая рука.

К сожалению, Юлинька была сделана под таксу, разрубленную пополам. Ее каплюсенькие кривые ножки были очень подвижны — она перемещалась на них быстрее верзилистого мужчины. Если бы к ее заду можно было приделать вторую пару таких же ножек, Юлинька могла бы гоняться не только за моим другом, но и за лисицами.

Лео крикнул:

— Маня!

Вошла толстушка с нахохлившимися бровями, с носиком, подпрыгнувшим, словно от щелчка, в кружевном передничке и наколке.

Лео сказал сердито:

— Вы же знаете, Маня, что я без вас не могу лечь спать.

И с видом мученика протянул ей ногу, затянутую в сапог, как в бальную перчатку.

3

Наша Инженерно-Строительная Дружина прокладывала стратегические дороги средь неповаженных полей Западного фронта и строила стратегические мосты через звонкую, как струна, реку.

Работали в Дружине татары из-под Уфы, сарты и финны. Татары были жалкие, сарты суровые, финны наглые. Притворяясь, что не понимают русского языка, они хрипели на покрики десятников: «сатана пергеле» и поблескивали белесыми глазами как ножами.

Кажется из-за дохлой кошки, а может быть, собачонки, вытащенной из супового котла, финны пробездельничали три дня. В конце месяца у них из жалования вычли прогул. Тогда финны разгромили контору, избили табельщика и подожгли фанерный домик начальника Дружины. Пришлось вызвать эскадрон. Но финны разбежались раньше, чем уланы сели на коней.

Начальник Дружины румяный инженер Корочкин всеохотно просил прощение «за беспокойство и потревогу» у ротмистра с перекошенным лицом, точно поперхнувшимся моноклем.

Уланы гостили у нас несколько дней. Мы играли с ними в теннис, стреляли уток, катались на моторной лодке по звонкой реке, угощали их тонкими обедами (повар был у нас знаменитый — от «Оливье»), возили на многопокойной «Испано» к Юлинькиным сестрам.

Поперхнувшийся моноклем ротмистр завистничал:

— Помещики! А? Помещики, корнет?

Корнет, сотворенный природой, по словам Петра Ефимовича, в оправдание побайки «на бочке едало, на едале мигало, под мигалой сморкало» — хрипел:

— Помещики? Черта лысого снилось такое моему батьке: женщины, карты, английские забавы, автомобиль. Во бы нам с вами, ротмистр, месяц-другой стратегические мостики повозводить.

Поперхнувшийся ротмистр вздыхал:

— Нда, мостики.

А Лео вызверился на уланские горячие штаны с белой выпушью и кожаные на ягодицах:

— Умереть! Уснуть!

И вечер насквозь трагически ворковал о султанах — белых, из петушиных перьев, лапушных, черных косичетых или из конского волоса, что трессируется на нитку; о помпоне, обвитом сученым снуром из серебряной канители; о кокардах из опряденного серебра; о галунах из опряденного золота с шелковыми закранами; о кирасирских орлах; о гербах, нумерах, накладных литерах, знаках с просеченными подпися-

ми; о гранатах «в три огня» на шапках; об уланской чешуе, набранной из звеньев, вырезанных фестонами; о кистях из рассыпных, в три ряда ссученных жгутиков «мат с гранью»; о двойных языках из алого сукна к шишаку, в серебряных плетенках; о кирасирских колетах, гвардейских доломанах, ментиках, парадных чачкирах, венгерках, супервестах, выкроенных наподобие лат.

Мой друг изнывал от жалости к самому себе,— за то, что должен был носить кокарду не яичком, а репкой, и погон не в ладонь, а на палец поуже, да еще простроченный по-чиновничьи в клетку и с отвратительным вензелем земского союза. Ему, не ко времени, припоминалась незадавшаяся поездка в Минск, когда придирчивый комендант столицы Западного фронта под рявканье зевак снял с него на улице шпоры, отобрал стек и заставил выправить кокарду, сплюснутую под офицерскую.

Я сел к моему другу на кровать и увертливо попытался отвлечь его от грустных мыслей:

— Как ты думаешь, Лео, выиграем мы войну или проиграем?

Он молчал, уткнувшись носом в подушку.

Я сказал:

— Проиграем.

Он поднял на меня гневные глаза.

Под окном корнетова тень напевала носику, подпрыгнувшему от щелчка:

Ой, вы, улане,
Малеваны дети,
Не одна паненька
За вами полети,
Не одна, и вдова
За вами, улане,
Летети готова,
Улане, улане.

Любовников, как два ломтика черного хлеба, густо посолила луна.

Я пожал плечами:

— Ну, сам подумай, разве может победить армия, которая сплошь состоит из неудавшихся земгусар.

4

Средь поля стоит сосна — длинная, тонкая, безрукая. К острой ее макушке прицеплено небо.

Я лежу под деревом.

Сковорода приметил, что отсутственная дружественная персона похожа на музыкальный инструмент — он издали бренчит приятнее.

Если бы мой друг не был гадиной, если бы он не измывался надо мной, не титуловал меня через слово «животным», не считал ничтожнейшим ничтожеством, не расковыривал бы сонные, пеклые и болезненные ростки моего самолюбия — разве был бы он мне дружественной персоной?

Говорю себе: «А ведь ты, брат, лихо смахиваешь на мадемуазель Пиф-Паф».

Пензенское происшествие:

Опускается занавес в сильфидах, лаврах и лирах. Мой друг скользит на лаковых носках вдоль барьера, по которому, как на жердочке, сидят одноглазыми разъевшимися канарейками — желтые драгунские

шапки. Лидия Владимировна протягивает ему руку. Он подносит ее к губам бережно, словно чашку из розового фарфора, грозящую при малейшей неловкости расплескать благоухающий кипяток. Оба полыхают. Лидия Владимировна глазами, украденными у госпожи Пушкиной, а мой друг крутым солнцем воротника, подпирающего уши. Лидия Владимировна влюбленно ломает холодный стебель лорнета. Лео — свою черную, опушенную золотом, треуголку.

Мы с Пиф-Паф стоим в проходе. Ее щекочет ревность.

Лео переломился возле просвечивающей насквозь Лидии Владимировны. Золотой ноготь его правоведской шпаги царапает барьер. Пиф-Паф подходит и берет своего возлюбленного под руку. Мой друг выпрямляется, смотрит на нее неузнающим взглядом.

— Сударыня, вам здесь не панель.

И подзывает капельдинера:

— Выведите из театра эту особу.

Пиф-Паф выводят.

Ночью он забежал к ней в номер, чтобы на скорую руку надавать пощечин. Но увлекся. Бил долго, сосредоточенно, с наслаждением. Ее голова качалась вправо и влево. На нежной коже оставались рубцы, будто бил не пальцами, а хлыстом. И Пиф-Паф впервые почувствовала себя женщиной, возлюбленной. В ней проснулось чувство собственного достоинства, почти высокомерия. Она сказала себе: «Если он меня бьет как собаку, значит, я тоже человек». И в порыве благодарности сделала его своим божеством на всю жизнь. Она носила, как ладанку, на груди белую лайковую перчатку, лопнувшую у моего друга на ладони после второго удара.

5

Ветер. Сосна топорщила жесткие волосы, желая во что бы то ни стало походить на вепря. На верхних черных сучьях, словно за пюпитрами, сидели горбоносые пичужки и пиликали на флейтах.

По большаку из леса тройка дымчатых лошадей вынесла лакированную откидную коляску. Я хотел спрятаться за дерево, но не успел. Юлинька закричала:

— Миша, Миша, полюбуйтесь на нас, раненого в госпиталь привезли. Замечательный. Обе ноги оторваны. Непременно приезжайте завтра взглянуть. Слышите, непременно. И Лео привозите.

Я хотел крикнуть «поздравляю», но дымчатые кони уже унесли счастливую докторшу.

Ветер качал безрукую сосну и прицепившееся к ней звездное небо.

6

Такса бежала впереди. Ее крутой задок управлял движением выпускного и стремительного тельца.

Сестра Шура, пушистая и ленивая как хвост сибирской кошки шептала не без гордости:

— Раненый — пальчики оближешь: так пузом душечка и оканчивается.

Мой друг процедил:

— Забавно.

Юлинька обернулась:

— Лео! Миша! Шурочка!

Она уже стояла у входа в палату и шеламутила руками:

— Протискивайтесь же, протискивайтесь. Ах, копуны.

Мы вошли. У окна под мягким байковым одеялом, кучкой высив-

шимся у изголовья и распластавшимся нелепо плоско «в ногах», спиной к нам лежал человеческий обрубок. Над ним серой веревочкой вился дым. Сделалось неприятно и страшно: «Обрубок и еще курит, жизнью наслаждается».

Я попятился было к двери, но сообразительная Юлинька схватила меня за руку. Мой друг с навычной легкомысленностью звякнул шпорой. Это было бестактно: ведь шпора привинчивается к сапогу, а сапог...

Обрубок повернул голову.

7

Больше всего я ненавижу жизнь за ее шуточки. Порой хочется показать ей кулак. А может быть, даже крикнуть в небо:

— Конферансье!

Обрубок оказался Ванечкой Плешивкиным.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

1

Я стою в футбольных воротах. Ужас в моем сердце. Подобно желтым фонарям, прыгают в зрачках голые коленные чашки Ванечки Плешивкина.

Чашки?.. Тазы? Медные тазы!

Они обмотаны и перекручены веревками мускулов. У него икры, как булыжники. Когда Ванечка заносит над мячом белую бутцу величиной с березовое полено, у меня падает душа.

А как он бегает! Впрочем, на таких ногах не мудрено делать сто метров в 11 секунд. Там, где у меня сосок, у него кончается бедровая кость.

Лео сделал меня голкипером. Когда я голкипер — я несчастный человек. Больше всего в жизни я не хотел быть голкипером. Лучше уж пожарным. Вообще я пожертвовал бы десятью годами жизни, согласился бы умереть не восьмидесяти пяти лет, а семидесяти пяти, семидесяти,— только бы не играть в футбол.

А ведь я обожаю жизнь. Не в качестве участника ее, а как свидетель.

Когда мне было шесть лет, мой отец — кондуктор, спросил меня:

— А что, Миша, ежели б тебе поездом перерезало ногу, ты хотел бы жить?

— Только без одной ножки?

— Да.

— Конетьно.

— А что ежели б, Миша, руку и ногу?

— Значит, с одной ручкой и одной ножкой?

— Да.

— Ну, конетьно, жить.

— Ах, ты, сорока картавитая, а ежели шь голову?

— Знатит, без глазок?

— Какие уж тут глаза!

И я, по преданию, горько задумавшись над пагубой, заковырял промеж своих пальчат на лапах с многосерьезностью взрослой:

— Нет, папка...

Мои реснички точили слезы:

— Без глазок хотю умереть.

Меня сегодня тренировали четыре часа. Мы разошлись, когда вечер унес с поля кипящий, красномедный самовар зари.

Лео сказал:

— Не горюй, Мишка. Из тебя в конце концов получится голкипер.

Я ответил тихо, как умирающий:

— Из меня, кажется, уже получился гробожитель.

Роковой Жак утешил:

— Выживешь.

А Ванечка Плешивкин, постукав по плечу гиреподобным кулаком, обнадежил:

— Обомнешься.

И только Саша Фрабер шепнул с лаской:

— Миша, иди ко мне ночевать. У мамы есть йод и свинцовая примочка.

2

Ночью, во сне, я наново переживал тренировку. Все было как в действительности: нападение играли Лео, Жак и Ванечка; бэком был Саша Фрабер; я стоял в воротах.

Когда Ванечка бил по голу, я зажимал глаза и наудачу выкидывал руку по направлению свистящего мяча. Если мяч случайно ударялся о кулак, пальцы выламывались от боли, а на костяшках выступала кровь и обмохрявливалась кожа.

Лео кричал:

— Дурак, сколько раз я тебя учил: мяч надо не отбивать, а ловить.

И я, перекорючившись от ужаса, в следующий раз ловил мяч в себя, как в мешок. После этого мне казалось, что отбитые внутренности нитькают в животе, как дробинки или горошинки в детской погремушке.

Язвительнейшие удары были у Лео. Он бил не сильно, но зато в самый уголок ворот. Чтобы вытренироваться в первоклассного голкипера, я должен был стремглав падать на мяч, презирая грязь, липкую и холодную. Иногда, не рассчитав прыжка, я ударялся головой о палку ворот. Это вызывало всеобщее одобрение.

Моя «защита» (Саша Фрабер) играла не за страх, а за совесть. Через пять минут после начала тренировки он становился липким как леденец, вынутый изо рта.

Саша наскакивал на ведущего мяч с исступленностью. Но почти всегда безуспешно, Лео делал несколько движений — легких, еле уловимых, почти балетных, и Саша оставался позади с выпученными и удивленными глазами.

А мяч летел в уголок гола.

3

Ночью, перед тем как лечь в кровать, я, с засыпающими веками, натирал мяч касторовым маслом. А утром перед гимназией вместо того чтобы выпить стакан горячего чая, зашивал вощеной ниткой разлезшиеся от Ванечкиных ударов швы на покрышке. Потом я надувал мяч велосипедным насосом и зашнуровывал.

Мяч вызывал во мне трепет, ненависть и восхищение. Я почасту видел как ничтожны в сравнении с ним Достоевский, Пушкин, Марксов

«Капитал», Мартов с Даном и Мадам Тузик: у нас в гимназии был литературный кружок — не стало; Саша Фрабер выпестовал тайный меньшевистский социал-демократический комитет — самораспустились; наконец «фирме, существ. с 1887», не приходилось по субботам прятать в чулане гимназических шинелей. Вышибало Андрей Петрович лишился тепленьких пятиалтынных.

Вышибало, из милованных каторжан, был гордостью заведения: «и сшили Андрюшеньке ожерельице в два молота»,— рассказывала с чувством проститутка Фрося.

Белокосая Фрося — воплощение русского разума и души. Бывало, ходит голая, чуть ступая, от ночного столика с будильником до простенка, где портрет цесаревича Алексея в матросском костюмчике, и все вопросы задает:

— А скажи, Мишенька, что в жизни всего тяжеле?

Теперь бы я, разумеется, ответил: «быть голкипером», но тогда еще не был я футболистом и потому не знал, что сказать.

— Так вот, Мишенька, всего тяжеле в жизни отца с матерью кормить.

У Фроси глаза хатки-мохнатки.

— Ты на сколько, Мишенька, на час или на ночь?

— На час, Фрося.

Она делово заведет будильник, прижав холодное стекло к животу, пахнущему материнским молоком, и опять спросит:

— Ну, а чего, Мишенька, всегда хочется?

— Тебя, Фрося.

— А вот, глупый, и не знаешь: всегда хочется ничего не делать.

С Фросей я, как в раю. Вспоминается Сковорода: «рай Божий, — простее сказать зверинец».

В зеркале, мутном и загадочном, точно остекленевший дым, отражались ее домыслы и покорная спина, безжалостно рассеченная позвоночником.

— Смотри, Мишенька...

Она показывала на Млечный Путь.

— ...вон там шла девица из Питера, несла кувшин бисера, споткнулась и рассыпала.

Фрося в объятиях плакала. Ее любовь приносила радость и чистоту. Я бы хотел Фросю не на час, но до конца дней.

А спустя десяток лет мне довелось узнать, что бывает еще любовь, оскорбительная, как пощечина.

Когда я обнимаю мою жену, она хохочет, словно я щекочу ей пятки. И во мне, как при встрече Персидского слона — во времена Петра, «знезапу, яко вода воскипеша московитин народи, улицы востопташася, слободы пролияшася, переулки протекоша».

4

Наш матч с Первой Казенной гимназией судил Исаак Исаакович Лавринович. На нем был смокинг из красного сукна, сшитый специально для этой цели, и круглая шапочка из пестрых клиньев на манер жокейской.

Пристав Утроба прибыл на матч в полицмейстерском шарабане и с полицмейстерской дочкой. Ее глаза отливали голубизной январского снега. А вокруг шеи был обмотан желтый шарф. Когда шарф плыл по ветру, полицмейстерская дочка становилась похожа на пузырек с рецептом. Ее нужно было принимать по каплям, чтобы не отравиться насмерть.

Пристав Утроба, увидав на поле Исаак Исааковича в красном смокинге и со свистком, сказал своей нареченной:

— Жидовская игра.

И возглавил партию врагов футбола.

В Пензе было всего несколько еврейских семейств, но, по уверению Лео, благодаря тому, что Исаак Исаакович, как только проглядывало солнце, выходил на Московскую улицу «прогуляться»; как только на столбе появлялась афиша с заезжим гастролером — покупал «место в креслах»; как только открылась первая в городе кофейная «Три Грации» Бр. Кузьминых,— абонировал на файфоклоковское время столик у окна; как только в столицах вошло в моду танго,— стал танцевать его на благотворительных балах, устраиваемых госпожой фон-Лилиенфельд-Тоаль; наконец, потому, что Исаак Исаакович был биллиардист, поэт, винтер, охотник, рыболов, дамский угождатель, любитель-фотограф, старшина обоих клубов и дружинник вольно-пожарного общества — казалось, что Пенза донельзя населена евреями.

Матч с 1-й Гимназией был проигран из-за меня. Надо сознаться, что оба гола непростительны. Первый мяч я попросту выронил, а второй прокатился у меня между ног.

Лео ушел с поля с трясущимися губами. От злости у него даже закосил левый глаз.

Я ходил за ним — побитой собакой. Заглядывал в лицо, вытирал платком его вспотевшую спину, застегивал подтяжки, очищал и резал ломтиками лимон, зажигал и подносил спичку раньше, чем он вставлял в зубы папиросу.

Он меня не замечал. Я сам начинал ощущать себя, как пустоту. Я чувствовал, что он не простит мне этих двух мячей никогда в жизни. Он всячески давал мне понять, что, собственно говоря, мне следует в ту же ночь пустить себе пулю в лоб. Но я смалодушничал. Я прикинулся простачком, не умеющим читать чужие мысли.

5

Ночь. Небо сурово и торжественно, как вывеска, что парит над Сенной. Вывески из черного стекла. Золотом на ней написано: а п т е к а. В детские годы я был уверен, что у бога лицо старенького провизора Моносзона. Когда меня без вины стегали ремнем, я огорчался за бога. Мне казалось, что он, как Лев Моисеевич, засунул за какой-то шкапчик свои очки и потому плохо видит, что делается на земле.

А попозже бывало еще лучше: сидит отец в кухне на табурете и чистит толченым кирпичом свои кондукторские пуговицы; я прибегаю с улицы и кричу:

— Папка, я сегодня видел бога. У него рыжая борода.

— Ладно.

И продолжает чистить пуговицы. На завтра я прибегаю и докладываю.

— Папка, я сегодня опять видел бога, с черной бородой.

— Ладно.

У отца все лицо в дырочках, как головка перечницы.

— Папка, а папка...

Вшвыриваю себя в комнату, как зажженный факел:

— ...Трех богов видел!

— Ладно.

Так бы и остаться мне многобожцем, если б не мать, спасибо объяснила:

— Да, это, Мишка, поп. И то — поп. А ты, вона — бог. Пороть надо!

И вера моя кончилась.

Темная трава орошена слезами. Уходя в ночь, весенний день плачет, как женщина, потерявшая юность. Я стою на дощатых мостках и смотрю в реку. Сура прекрасна. Она обогащена половодьем, как удачной биржевой спекуляцией. Я завидую.

Месяц спрыгивает с Большой Медведицы. Нырнул. Плывет. Он похож на крестьянского мальчика, золотоголового, загорелого. Ветер раздевает прибрежные ивы. Они стыдятся, как девушки. Они бросаются в воду в своих зеленых рубашках, легких и трепещущих. Золотоголовый озорник плывет им навстречу.

Я смотрю в воду. Я наслаждаюсь тишиной и одиночеством. Самое тяжелое позади. В следующее воскресенье наша гимназия играет реванш с 1-й Казенной. Голкипером будет Василий Васильевич Кузькина мать.

Скрипучие мостки из молодого теса пахнут пасхальной заутреней. Вода, что дымок от ладана. Восторг поднимается у меня от живота к сердцу, от сердца к горлу, бьет в нос, туманит глаза. Я перевешиваюсь через скрипучие перильца и... плюю в реку.

Француз или немец, быть может, свой восторг иначе выразил бы. Но русский человек никогда. Сколько я ни видел моих соотечественников, любующихся в лунные ночи речным простором, будь то в Петербурге на Аничковом, около чугунных коней, вздыбленных бароном Клодтом, в Нижнем или на Плашкоутном, что перепоясал сыромяжным ремешком широкотелую Волгу, в Москве ли на Каменном — всякий раз мои соотечественники в последнюю минуту поэтического восторга плевали в воду.

Туча проглотила месяц. Я возвращался домой. Сначала лесом, в котором было душно, как в комнате больного, уставленной микстурами, каплями, пилюлями и притираниями. Потом спящими улицами и черными переулками. Они у нас в Пензе перепутаны, как линии на ладони. Я шел, будто гадая свою судьбу: то по линии смерти, то по линии жизни, то по линии любви. Спотыкался на бугорках, по случайности не названных в честь богинь — Минервы или Венеры.

Я был последователем Пифагора, Цезаря, Суллы, Агриппы из Неттесгейма и Преториуса. Я знал, что в книге Иова сказано: «на руку всякого человека он налагает печать для вразумления всех людей, сотворенных им».

Публикация И. В. САВИНА

Окончание следует

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6 «ГОРИЗОНТА»:

По горизонтали: 3. Сарафан. 8. Приоритет. 9. Бульдозер. 10. Смета. 11. Ритмика. 13. Новер. 14. Регресс. 16. Пародия. 17. Антанта. 18. Агат. 20. Губа. 22. Фактoриал. 23. Мясо. 25. Шлак. 27. Колонок. 28. Иравади. 29. Ареопаг. 32. Число. 33. Солярий. 34. Тиссэ. 35. Фестиваль. 36. Космодром. 37. Углерод.

По вертикали: 1. Фацеция. 2. Гадулка. 4. Премьера. 5. Орнамент. 6. Единорог. 7. Генетика. 12. Малакология. 15. Салазки. 16. Палатка. 19. Гея. 21. Боа. 23. Маркизет. 24. Оратория. 25. Швертбот. 26. Крамской. 30. Коллега. 31. Тихонов.